

Генрик СЕНКЕВИЧ

КАМО ГРЯДЕШИ



Коллекция исторических романов (Вече)

Генрик Сенкевич

Камо грядеши

«ВЕЧЕ»

1896

Сенкевич Г.

Камо грядеши / Г. Сенкевич — «ВЕЧЕ», 1896 — (Коллекция исторических романов (Вече))

ISBN 978-5-9533-5651-0

I век нашей эры. Империя агонизирует, переживая глубокий кризис, как политический, так и духовный. Говорят, что Иисус собирается прийти в Рим, чтобы снова быть распятым. Так ли это? Сможет ли новая вера вдохнуть силы в человека нового тысячелетия? Рим буквально разрывается на части. Во дворцах при дневном свете проходят безумные оргии, а на кладбище, при свете луны, апостол Петр читает свои духовные проповеди. Обезумевший император Нерон пишет стихи и грезит о грандиозном пожаре в своей столице. И словно прочитав его мысли, улицы Вечного города охватывает беспощадное пламя. Кто виноват в этом ужасном преступлении? Народ клоочет от гнева и требует отмщения. Идя навстречу своим верноподданным, Нерон собирается устроить для черни зрелище, которое потомки будут вспоминать в веках.

ISBN 978-5-9533-5651-0

© Сенкевич Г., 1896

© ВЕЧЕ, 1896

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
Часть вторая	60
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Генрик Сенкевич

Камо грядеши

Печатается по изданию: Сенкевич Г. Камо грядеши. – М.: изд. Д. Ефимова, 1901

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2011

Об авторе

Генрик Адам Александер Пиус Сенкевич – великий польский писатель, прозаик и журналист. Родился 5 мая 1846 года в городке Воля-Окшейска в семье небогатого шляхтича, участника Польского национально-освободительного восстания 1830–1831 годов. Еще в детстве будущий писатель впитал в себя идеи свободы и мечты о независимости родины, ставшие основой всей его творческой и общественной деятельности.

Образование Сенкевич получил в Варшаве, куда его семья была вынуждена переехать после продажи имения. По окончании школы молодой Генрик поступил в Варшавский университет на факультет медицины, однако затем поменял специальность и перевелся на историко-филологический факультет. Здесь он всерьез заинтересовался польской историей и литературой и начал писать прозу и стихи. Из-за недостатка в средствах Сенкевичу не удалось закончить университет, и в 1871 году молодой литератор начинает свою творческую карьеру, обратившись к журналистике. За очень короткий срок он становится одним из ведущих журналистов страны, много путешествует, работая корреспондентом в Вене, Париже, Остенде и в США. Годы, проведенные за границей, были описаны Сенкевичем в книге «Письма из путешествия в Америку», имевшей в Польше большой успех. Вернувшись на родину, Сенкевич становится редактором одной из варшавских газет и начинает писать свои знаменитые исторические романы.

Первый же его роман «Огнем и мечом», создававшийся в период 1883–1884 годов, быстро завоевал статус одной из самых популярных книг в стране. Следом из-под пера писателя выходят романы «Потоп» и «Пан Володыевский», являющиеся тематическим продолжением первой книги. Эта трилогия была посвящена бурным событиям польской истории XVII века: борьбе с восставшей Украиной Богдана Хмельницкого и со шведским нашествием. Прекрасный стиль вкупе с большой реалистичностью исторических деталей делают эти книги популярными и по сей день.

В конце XIX века Сенкевич начинает работу над двумя своими самыми главными историческими романами – «Камо грядеши» и «Крестоносцы». Первый рассказывает историю драматической судьбы христиан во времена правления деспотичного императора Нерона, второй повествует об одной из самых славных и знаменитых страниц польской истории – героической борьбе с Тевтонским орденом. Оба этих романа сделали Сенкевича самым популярным писателем Польши на рубеже веков. В 1905 году писатель становится лауреатом Нобелевской премии по литературе «за выдающиеся заслуги в создании эпических произведений, воплотивших в себе дух польской нации».

Великий романист скончался 15 ноября 1916 года в швейцарском городке Веве, где несмотря на болезнь самоотверженно возглавлял Комитет помощи польским жертвам Первой мировой войны.

Творчество Генрика Сенкевича сыграло большую роль в истории польской культуры и получило всемирное признание. Его высоко ценили Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, А. П. Чехов и другие выдающиеся писатели и общественные деятели. Большинство романов Сенкевича экранизировано.

Избранная библиография Г. Сенкевича:

- «Старый слуга» (Stary sługa, 1875)
- «Ганя» (Hania, 1876)
- «Селим Мирза» (Selim Mirza, 1876)

- «Наброски углём» (Szkice węglem, 1877)
- «Янко-музыкант» (Janko Muzykant, 1879)
- «Из дневника познанского учителя» (Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, 1879)
- «За хлебом» (Za chlebem, 1880)
- «Бартек-Победитель» (Bartek Zwycięzca, 1882)
- «Огнём и мечом» (Ogniem i mieczem, 1883–1884)
- «Потоп» (Potop, 1884–1886)
- «Пан Володыевский» (Pan Wołodyjowski, 1887–1888)
- «Без догмата» (Bez dogmatu, 1889–1890)
- «Семья Полянецких» (Rodzina Połanieckich, 1893–1894)
- «Камо грядеши» (Quo vadis, 1894–1896)
- «Крестоносцы» (Krzyżacy, 1897–1900)
- «На поле славы» (Na polu chwały, 1903–1905)
- «Омут» (Wiry, 1910)
- «В пустыне и пуще» (W pustyni i w puszczy, 1912)
- «Легионы» (Legiony, 1914)

Часть первая

I

Петроний проснулся лишь около полудня, по обыкновению чувствуя себя очень разбитым. Накануне он был у Нерона на пиршестве, которое затянулось до поздней ночи. С некоторых пор здоровье стало изменять Петронию. Он говорил сам, что по утрам просыпается почти окоченевший и долго не в состоянии собраться с мыслями. Но утренняя ванна и тщательное растирание тела, производимое искусными рабами, ускоряли его вялое кровообращение, восстанавливали силы, возвращали бодрость, так что из бани Петроний выходил точно обновленный, с живым и веселым видом, помолодевший, еще полный жизни и изящный до неподражаемости, так что даже Отон не мог бы сравниться с ним, – настоящий «*arbiter elegantiarum*»¹, – как называли его.

В общественных банях Петроний бывал редко, он ходил туда только в тех случаях, когда там появлялся какой-нибудь возбуждающий удивление ритор, о котором много говорили в городе, или если в эфебиях происходили какие-нибудь особенно интересные состязания. У Петрония были собственные бани на своей вилле, которые Целлер, известный помощник Севера, расширил и устроил с таким изяществом, что даже Нерон признавал их превосходство над банями Цезаря, хотя эти последние были и просторнее и по отделке гораздо роскошнее. Итак, после вчерашнего пиршества, на котором Петроний, утомившись бессмысленным шутковством Ватиния, вместе с Нероном, Луканом и Сенекой принял участие в диспуте: «есть ли у женщины душа?», он встал поздно и по обыкновению принял ванну. Два рослых раба только что положили его на кипарисовый стол, застланный египетским виссоном необыкновенной белизны, и натирали его выхоленное тело руками, смоченными благовонными маслами. Петроний, закрыв глаза, выжидал, когда банная теплота и натирание устранят его разбитость.

Наконец он заговорил. Открыв глаза, он стал расспрашивать о погоде, о драгоценных камнях, которые ювелир Идомен обещал прислать для осмотра. Погода, несмотря на легкий ветерок с Албанских гор, оказалась прекрасной, драгоценные камни еще не были присланы. Петроний снова закрыл глаза и приказал перенести себя в «тепидарий». В это время из-за занавески показался «номенклатор» и доложил, что прибывший только что из Малой Азии молодой Марк Виниций пришел навестить Петрония. Петроний приказал впустить гостя в тепидарий, куда перешел и сам. Виниций был сын старшей сестры его, вышедшей замуж за Марка Виниция, консула времен Тиверия. Молодой Виниций служил под начальством Корбулона и участвовал в войне против парфян и теперь, когда война кончилась, возвратился в Рим. Петроний питал к нему некоторую слабость, почти привязанность, потому что Марк был красивый молодой человек атлетического сложения и, кроме того, умел соблюсти известную художественную меру в нравственном отношении, что Петроний очень ценил.

– Привет мой Петронию, – произнес молодой человек, входя твердыми шагами в тепидарий, – да ниспошлют тебе боги всякое благополучие, в особенности же Асклений и Киприда: под их двойным покровительством ничто дурное с тобой не может случиться.

– Добро пожаловать! Пусть будет тебе сладок отдых после военных трудов, – ответил Петроний, протягивая ему руку из-под мягкой, нежной ткани, которою он был окутан. – Что нового в Армении? Не заезжал ли ты в Вифинию, когда был в Азии?

¹ «Законодатель изящного вкуса» (лат.)

Петроний в былые времена был правителем Вифинии и правил ею справедливо и энергично, что совершенно не согласовалось с характером человека, отличавшегося изнеженностью и любовью к роскоши. Он любил вспоминать о тех временах, так как они служили доказательством того, чем он мог быть, если бы хотел.

– Мне пришлось побывать в Геракле, – ответил Виниций. – Меня выслал туда Корбулон за подкреплениями.

– Ах, Гераклея! Я знал там одну девушку родом из Колхиды, за которую готов был отдать всех здешних женщин, не исключая и Поппеи. Но это было так давно. Расскажи-ка лучше, что слышно у парфян? Правду сказать, надоели мне все вологезы, тиридаты, тиграны, все эти варвары, которые, если верить молодому Аруламу, ходят у себя дома на четвереньках и только в нашем присутствии прикидываются людьми. Теперь о них много говорят в Риме, быть может только потому, что говорить о чем-нибудь другом небезопасно.

– Война идет неудачно и могла бы кончиться полным поражением, если бы не Корбулон.

– Корбулон! Клянусь Вакхом, это настоящий бог войны! Марс! Великий вождь! И в то же время горяч, честен и глуп! Я люблю его уж за одно то, что Нерон боится его.

– Корбулон не глуп!

– Может быть, ты и прав, а впрочем, не все ли равно! Пирон говорит, что глупость ничуть не хуже ума и ничем от него не отличается!

Виниций стал рассказывать про войну, но, когда Петроний снова закрыл глаза, молодой человек, увидев истомленное лицо его, с участием принялся расспрашивать о его здоровье.

Петроний открыл глаза.

– Здоровье?.. Так себе...

Он не чувствовал себя здоровым, правда, он не дошел до того, до чего дошел молодой Сиссен, который настолько утратил сознание, что по утрам, когда его вносят в ванну, он спрашивает: «сiju ли я?» Но все-таки он нездоров. Виниций только что поручил его покровительству Аскления и Киприды. Но он, Петроний, не верит в Аскления. Ведь неизвестно даже, чей сын этот Асклений – Арсинои или Корониды? А если даже матери нельзя назвать с уверенностью, то об отце и говорить нечего! Теперь никто не может с уверенностью указать на собственного отца.

Петроний рассмеялся и продолжал:

– Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр три дюжины живых петухов и золотую чашу; ты, надеюсь, понимаешь почему? Я сказал себе: поможет или нет, но во всяком случае не повредит. Хотя люди и приносят еще жертвы богам, но, я думаю, все они смотрят на это так же, как и я! Все!.. исключая разве погонщиков мулов, поджидающих путешественников у porta Сарепы. Кроме Аскления обращался я и к Асклениадам, когда был болен в прошлом году. Я знаю, что они обманщики, но тоже подумал: чем это может повредить мне? Мир держится на обмане и вся жизнь тот же обман. И душа тоже обман! Нужно только иметь достаточно ума, чтобы уметь отличать обманы приятные от неприятных. В своем «гинокаусе» я приказываю топить кедровым деревом, пропитанным амброй, потому что вообще предпочитаю благоухание смраду. Что же касается покровительства Киприды, которому ты тоже поручил меня, то пока оно выразилось только в том, что у меня в правой ноге появилось покалывание! Впрочем, она добрая богиня. Я думаю, что и ты в скором времени понесешь на ее жертвенник белых голубей.

– Правда, – отвечал Виниций, – парфянская звезда не тронула меня, но зато стрела Амура меня сразила самым неожиданным образом, всего в нескольких стадиях от городских ворот.

– Клянусь белизной колонн Хариз! Ты расскажешь мне это в свободную минуту, – сказал Петроний.

– Я именно пришел за твоим советом, – отвечал Марк.

В ту же минуту вошли «эпиляторы», которые занялись Петронием. Марк, по приглашению Петрония, сбросил тунику и вошел в ванну с теплой водой.

– Я, конечно, не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, – сказал Петроний, глядя на молодое тело Виниция, как бы выточенное из мрамора. – Если бы Лизипп увидел тебя, ты украшал бы теперь в виде статуи Геркулеса ворота, ведущие в Палатину.

Виниций самодовольно улыбнулся и погрузился в воду, расплескивая ее по мозаике пола, на котором была изображена Гера, просящая Сон усыпить Зевеса.

Петроний смотрел на юношу как художник, который удовлетворен тем, что он видит перед собой.

Когда Виниций окончил купанье и в свою очередь перешел в руки эпиляторов, вошел «лектор» со связками бумаг в бронзовом ящике.

– Хочешь послушать? – спросил Петроний.

– Если это твое произведение – с удовольствием! – отвечал Виниций, – а если нет, то предпочитаю продолжать разговор. В наше время поэты на всяком перекрестке ловят слушателей.

– Это правда! Нельзя пройти ни мимо базилик, ни мимо бань, ни мимо библиотеки, ни мимо книжной лавки, чтобы не увидеть поэта, который размахивает руками, как обезьяна. Агриппа, возвратясь с Востока, принял их за бесноватых. Впрочем, такое теперь время. Цезарь сочиняет стихи, и все следуют его примеру. Запрещено только сочинять стихи, которые были бы лучше его стихов, и потому я немного боюсь за Лукана... А я пишу прозой, но не угощаю ею ни себя, ни других. Лектор собирался прочесть записки этого несчастного Фабриция Вейента.

– Почему «несчастливого»?

– Потому, что ему приказано предпринять одиссею и не возвращаться к домашним пенатам впредь до распоряжения. Положим, эта одиссея для него легче, чем для самого Одиссея, потому что жена его не похожа на Пенелопу. Да тебе незачем объяснять, что с ним поступили глупо. Вообще, здесь на вещи смотрят слишком легко. Эта книжка довольно плоха и скучна, на нее накинута только с тех пор, как автора подвергли изгнанию. Теперь со всех сторон только и слышишь: «скандал, скандал!» Очень может быть, что некоторые вещи и вымышлены Вейентом, но я, зная город, зная патрициев и наших женщин, смею тебя уверить, что все у него гораздо бледнее, чем на самом деле; но тем не менее там всякий ищет себя со страхом, знакомых – с наслаждением. В книжной лавке Авирна сотня писцов списывает это сочинение под диктовку, так что успех его обеспечен.

– О твоих выходках там нет?

– Есть... но относительно меня автор ошибся: в действительности я гораздо хуже, но зато и не такой пошлый, каким он изобразил меня. Видишь ли, мы все давно потеряли представление о том, что дозволено и что преступно, да мне самому кажется, что между этими понятиями фактически нет никакой разницы, хотя Сенека, Музоний и Тразея делают вид, что понимают ее. А для меня это безразлично. Клянусь Геркулесом! я говорю то, что думаю; сравнительно с другими у меня есть только то преимущество, что я в состоянии отличить безобразное от прекрасного, чего, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, борец и шут, не умеет делать.

– Жалко мне Фабриция! Это такой хороший товарищ.

– Его погубило самолюбие. Все подозревали его, но наверное никто не знал; сам он не умел держать язык за зубами и по секрету болтал на все стороны. Ты слышал историю Руффина?

– Нет!

– Перейдем для охлаждения в «фригидарий», и я там тебе расскажу.

Они перешли в фригидарий, посередине которого бил фонтан с окрашенной в бледно-розовый цвет струей, издававшей запах фиалок. Тут они расположились в нишах, обитых шел-

ками. Несколько минут длилось молчание. Виниций задумчиво глядел на фавна, обнявшего нимфу и жадно искавшего губами ее губ, и наконец сказал:

– Вот кто прав! Это самое лучшее в жизни!

– Более или менее. Но ты, кроме этого, любишь войну, которую я не люблю, потому что от постоянного пребывания в палатках лопаются ногти и теряют свой розовый цвет. Впрочем, конечно, у всякого есть свои слабости. Меднобородый, например, любит пение, в особенности свое собственное, а старый Скавр – коринфскую вазу, которую ставит на ночь около своей постели, и когда ему не спится – целует ее. От этих поцелуев у нее нет уже краев. Послушай, ты сочиняешь стихи?

– Нет! Я никогда не написал ни единого гекзаметра.

– Может быть, играешь на лютне? поешь?

– Нет!

– Ну, правишь лошаадьми?

– Когда-то я принимал участие в ристалищах в Антиохии, но успеха не имел.

– Ну, тогда я спокоен за тебя. А в цирке к какой партии принадлежишь?

– К партии зеленых.

– Я совершенно успокоился, тем более что хотя у тебя большое состояние, но все же ты менее богат, чем Паллас или Сенека. У нас, видишь ли, очень хорошо тому, кто сочиняет стихи, поет под аккомпанемент лютни, декламирует, участвует в состязаниях в цирке, но все же лучше или, вернее, безопаснее тому, кто не пишет стихов, не играет на лютне, не поет, не принимает участия в состязаниях. Лучше же всего тому, кто восторгается, когда все это прodelьывает Меднобородый. Ты красив, поэтому тебе, может быть, грозит опасность, что в тебя влюбится Поппея. Впрочем, навряд ли: она в этом отношении слишком опытная! Любовью она достаточно насладились при двух первых мужьях, а теперь, при третьем, она заботится кое о чем другом. И вообрази, этот глупый Отон до сих пор до безумия в нее влюблен... Бродит по скалам в Испании и вздыхает; так отстал от своих прежних привычек и так мало обращает на себя внимания, что на прическу ему теперь хватает всего только три часа ежедневно. Кто мог это подумать, а главное, относительно Отона?

– Я понимаю это, – возразил Виниций. – Но все-таки я и в его положении нашел бы себе другое занятие.

– Какое же?

– Я вербовал бы верные легионы из тамошних жителей гор. Иберийцы – народ храбрый.

– Виниций, Виниций! Я почти убежден, что ты не был бы способен сделать это. И знаешь почему? Потому, что такие вещи делаются, но о них не говорят. Что же касается лично меня, то, будь я на месте Отона, я смеялся бы над Поппеей и собирал бы легионы, но не из иберийцев, а из иберянок. В крайнем случае сочинял бы эпиграммы, но никому бы не читал их, как этот бедняга Руффин.

– Да, кстати, ты хотел мне рассказать его историю.

– Я расскажу тебе ее в «унктуарии».

Но там внимание Виниция было им отвлечено красивыми рабынями, поджидавшими их. Две из них – негрятки, похожие на роскошные изваяния из черного дерева, стали умащать тело Виниция и Петрония нежными аравийскими благовониями; другие – фригийки, умеющие искусно причесывать, держали в мягких и гибких, как змеи, руках полированные стальные зеркала и гребни, а две, подобные греческим богиням, девушки с острова Косса, в должности *vestipicae*², ждали приказаний, чтобы уложить тоги художественными складками.

– Клянусь громовержцем Зевсом! – воскликнул Виниций, – какой у тебя подбор!

² Рабыня, наблюдавшая за одеждой.

– Я предпочитаю качество численности, – отвечал Петроний. – Вся моя фамилия³ в Риме не превышает четырехсот человек, и полагаю, что только проходимцы могут нуждаться в большем количестве слуг для домашнего обихода.

– Более красивых рабынь нет даже у Меднобородого, – произнес Виниций, у которого ноздри стали раздуваться.

– Что же, – ты мой родственник, – отвечал Петроний с дружеским пренебрежением, – а я вовсе не такой эгоист, как Басс, и не такой педант, как Авл Плавций.

Услыхав это имя, Виниций мгновенно забыл о косских девушках и, подняв голову, быстро спросил:

– Почему тебе пришел в голову Авл Плавций? Знаешь, я разбил руку неподалеку от города и более десяти дней провел у них в доме, так как раз в минуту несчастья проезжал Плавций и, видя мои нестерпимые страдания, взял меня с собой в дом, где его раб, врач Мерион, вылечил меня. О Плавции я и хотел переговорить с тобой.

– А что? Уж не влюбился ли ты в Помпонию? В таком случае мне жаль тебя: она не молода и добродетельна. Я не могу себе представить ничего хуже сочетания этих двух свойств. Бррр...

– Не в Помпонию, нет! – ответил Виниций.

– Так в кого же?

– И сам не знаю в кого! Я даже не знаю ее имени: Лигия или Каллина? Дома ее называют Лигией, потому что она происходит из лигийского племени, но у нее есть и свое варварское имя: Каллина. Станный дом у Плавциев: народу в нем много, а тишина такая, точно в рощах Субиацких. Почти десять дней я и не подозревал, что в нем живет такое божество. Как-то раз, на рассвете, я увидел ее: она купалась в фонтане в саду. И клянусь тебе пеной, породившей Афродиту, что лучи зари пронизывали насквозь ее тело. Я думал, что, когда взойдет солнце, она рассеется в его лучах, как сияние утренней звезды. После этого я видал ее еще два раза, и с тех пор я не знаю, что такое покой, и нет у меня других желаний, не хочу знать, что может дать мне Рим, не хочу женщин, не хочу золота, не хочу коринфской меди, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни пиршества, и хочу только Лигию. Я говорю тебе откровенно, Петроний, я тоскую по ней, так как тосковал Сон по Пайзифае, изображенный на мозаике в твоём тепидарии, тоскую днем и ночью.

– Если это рабыня – выкупи ее.

– Она не рабыня.

– Кто же она такая? Вольноотпущенница Плавция?

– Так как она никогда не была рабыней, то не может быть и вольноотпущенницей.

– Ну так кто же она?

– Не знаю: царская дочь или что-нибудь подобное.

– Ты возбуждаешь мое любопытство, Виниций.

– Если ты согласишься меня выслушать, я сейчас же удовлетворю твоё любопытство. История не слишком длинная. Ты, может быть, лично знал Ванныя, царя свевов, который, изгнанный из своей страны, долгое время жил здесь в Риме и даже прославился счастливой игрой в кости и искусным управлением колесниц. Цезарь Друз снова возвел его на престол. Ванный, который в сущности был человек очень разумный, сначала правил очень хорошо, но впоследствии стал драть шкуру не только с соседей, но и с самих свевов. В то время Вансион и Сидон, его племянники по сестре, дети Вибилия, царя германдуров, решили принудить его снова вернуться в Рим... попытать счастья в игре в кости.

– Я помню, это ведь было во времена Клавдия!

– Да! Началась война. Ванный призвал на помощь язисов, а его милые племянники – лигийцев, которые, наслышавшись о богатствах Ванныя и прельстившись надеждой на добычу,

³ Familia – весь состав домашних слуг, рабов. – Примеч. автора.

прибыли в таком количестве, что даже сам цезарь Клавдий стал бояться за свои границы. Клавдий не хотел вмешиваться в войну варваров, но все-таки написал к Ателию Гистеру, который был начальником придунайских легионов, чтобы он зорко следил за ходом войны и не позволял нарушать ничьего покоя. Тогда Гистер потребовал от лигийцев, чтобы они присягнули, что не нарушат границ, и лигийцы не только согласились на это, но и дали заложников, среди которых находилась жена и дочь их вождя... Ведь ты знаешь, что варвары выходят на войну с женами и детьми... Так вот моя Лигия и есть дочь этого вождя.

– Откуда ты знаешь все это?

– Мне рассказал это Авл Плавций. Действительно, лигийцы не нарушили границ, но варвары налетают как буря и исчезают так же. Так исчезли и лигийцы со своими турьими рогами на головах. Они разбили свевов и язисов Ванния, но царь их был убит, после чего они ушли со своей добычей, а заложники остались в руках Гистера. Мать скоро умерла, а ребенка, не зная, что с ним делать, Гистер отослал к правителю всей Германии, Помпонию, который, окончив войну с каттами, возвратился в Рим, где Клавдий, как ты знаешь, разрешил ему отпраздновать триумф. Девочка шла тогда за колесницей победителя, но после окончания торжества Помпонию тоже не знал, что с ней делать, и отдал ее своей сестре Помпонии Грецине, жене Плавция. В этом доме, где все, начиная с хозяев и кончая последней курицей, добродетельны, она выросла и сделалась такой же добродетельной, как сама Грецина, и такою прекрасною, что даже Помпея в сравнении с ней казалась бы осенней смоквой рядом с исперийским яблоком.

– Ну что же?

– Повторяю тебе, что с той минуты, когда я увидал, что солнечные лучи пронизывают насквозь ее тело, я влюбился в нее без памяти.

– Так, значит, она так же прозрачна, как минога или сардинка?

– Оставь свои шутки, Петроний. И если тебя удивляет откровенность, с которой я сам говорю о своей любви, так знай, что под блестящей одеждой часто кроются глубокие раны. Я должен тебе также сказать, что, возвращаясь из Азии, я провел одну ночь в храме Мопса, чтобы увидеть пророческий сон. И действительно, во сне ко мне явился сам Мопс и предсказал, что в моей жизни произойдет большая перемена, и что причиной тому будет любовь.

– Я слышал, как Плиний говорил, что он не верит в богов, но верит в сны, и он, может быть, прав. Мои шутки не мешают мне иногда думать, что действительно существует только одно божество вечное, всемогущее, творящее – это *Venus Genitrix*⁴. Она связует души, соединяет тела и предметы. Эрот из хаоса создал мир, хорошо ли он сделал – это другое дело, но раз это так, мы должны признать его могущество, хотя мы можем и не благословлять его за это...

– Ах, Петроний! Гораздо легче философствовать, чем дать добрый совет.

– Да ты скажи мне, чего ты, собственно, хочешь?

– Хочу иметь Лигию. Хочу, чтобы мои руки, которые теперь обнимают один только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Хочу надышаться ее дыханием. Если бы она была рабыня, я б отдал за нее Авлу сто девушек с ногами, побеленными известью⁵. Я хочу ее иметь в моем доме до тех пор, пока голова моя не будет так же седа, как вершины Соракты зимою.

– Она не рабыня, но тем не менее принадлежит к «фамилии» Плавция, а так как она, кроме того, круглая сирота, то ее можно считать «воспитанницей». Плавций мог бы уступить тебе ее, если б захотел.

– Разве ты не знаешь Помпонии Грецины? Кроме того, они оба привязаны к ней, как к собственному ребенку.

– Помпонию-то я знаю, настоящий кипарис: если бы она не была женой Авла, ее можно было бы нанимать как плакальщицу. Со дня смерти Юлии она не сбрасывает с себя темной

⁴ Венера Родительница.

⁵ В знак того, что они выставлены на продажу в первый раз. – Примеч. автора.

одежды и в общем имеет такой вид, точно она при жизни еще ходит по лугам, поросшим асхюделями. Притом она «универа», и поэтому она нечто вроде феникса среди наших жен, разво-дившихся по четыре, по пять раз... Кстати, слышал ли ты, что в верхнем Египте действительно появился феникс, ведь это случается не чаще, чем раз в пять столетий?

– Петроний! Петроний! Мы о фениксе поговорим как-нибудь в другой раз.

– Ну что же я могу тебе сказать, Марк? Я знаю Авла Плавция, который хотя и порицает мой образ жизни, но все-таки питает ко мне некоторую слабость и уважает меня больше, чем всех остальных, потому что знает, что я никогда не был доносчиком, как, например, Домиций Афр, Теггелин и вся шайка друзей Меднобородого. Не выдавая себя за стойка, я часто порицал такие поступки Нерона, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу сделать что-нибудь для тебя у Авла, то я к твоим услугам.

– Думаю, что можешь. Ты имеешь на него влияние, а, кроме того, твой ум найдет тысячу способов убедить его. Если бы ты ознакомился с положением дела и поговорил с Плавцием?..

– Ты слишком высокого мнения о моем уме и о моем влиянии, но если дело только в этом, я поговорю с Плавцием, как только они переедут в город.

– Они уже два дня, что здесь.

– В таком случае перейдем в триклиний, где нас ждет завтрак, а потом, подкрепив силы, мы прикажем отнести себя к Плавцию.

– Ты всегда был мне дорог, – отвечал Виниций с живостью, – но теперь я прикажу поставить твою статую среди моих ларов, вот такую же прекрасную, как эта, и буду приносить перед ней жертвы.

Сказав это, он повернулся в сторону статуй, которые украшали целую стену комнаты, и указал рукой на изваяние Петрония в виде Гермеса, с посохом в руке и добавил:

– Клянусь лучами Гелиоса! Если «божественный» Александр был похож на тебя, я не удивляюсь Елене.

И в этом возгласе было столько же искренности, сколько и лести, потому что Петроний, несмотря на то что был старше Виниция и не так атлетически сложен, но лицом казался все-таки красивее его. Римские женщины восхищались не только его умом и вкусом, которому он обязан был своим прозвищем «*arbiter elegantiarum*», но также и телом его. Это восхищение можно было прочесть даже на лицах косских девушек, которые в эту минуту укладывали в складки его тогу. Одна из них, по имени Эвника, любившая его тайно, глядела ему в глаза с покорностью и обожанием.

Но он даже внимания не обратил на это и, улыбаясь Виницию, вместо ответа стал цитировать мнение Сенеки о женщинах:

– *Animal impudens...*⁶ и т. д. – И потом, обняв его за плечи, повел в триклиний.

В унктуариуме две греческие девушки, фригийки и две негритянки принялись убирать благовония. Но в ту же минуту из-за опущенного занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышалось тихое: псс!.. На это приглашение одна из гречанок, фригийки и обе эфиопки быстро вскочили и в одно мгновение исчезли за занавесом. Наступило время бесчинств и разгула, надсмотрщик рабов не препятствовал, так как часто сам принимал участие в этих оргиях. Петроний догадывался о них, но, как человек рассудительный и не любивший наказывать, глядел сквозь пальцы.

В унктуарии осталась одна Эвника. Некоторое время она прислушивалась к голосам и смеху, удалявшимся по направлению «лаконики», потом, взяв стул, украшенный янтарем и слоновой костью, на котором только что сидел Петроний, осторожно пододвинула к статуе его.

Унктуариум был залит лучами солнца и разноцветными отражениями их от мраморных стен. Эвника влезла на стул и, очутившись на одной высоте со статуей, вдруг охватила руками

⁶ Бесстыдное животное.

ее шею и, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь своим розовым телом к белому мрамору, с восторгом стала целовать холодные щеки Петрония.

II

После завтрака, к которому друзья приступили в то время, когда простые смертные давно успели пообедать, Петроний погрузился в легкую дремоту. По его мнению, было еще слишком рано навещать знакомых. Правда, есть люди, которые начинают свои посещения чуть не с восхода солнца и даже считают это древним римским обычаем. Но он, Петроний, считает это варварством. Самое удобное время для посещений – после обеда, но, тем не менее, не раньше, чем солнце перейдет в сторону храма Зевса Капитолийского и искоса станет смотреть на Форум. Осенью в это время бывает еще жарко, и люди обыкновенно спят после еды.

Теперь приятно послушать плеск фонтана в атриум и, пройдя обязательную тысячу шагов, вздремнуть при красноватом свете, пробивающемся сквозь пурпурный наполовину задернутый *velarium*⁷.

Виниций согласился с Петронием, и они принялись ходить, беседуя довольно небрежно о том, что слышно на Палатинском холме в городе, и даже слегка философствуя. Потом Петроний отправился в кубикул, но спал недолго; через полчаса он вышел и, приказав принести вервены, стал ее нюхать и натирать руки и виски.

– Ты не поверишь, – говорил он, – как это оживляет и освежает. Ну, теперь я готов.

Носилки давно уже ждали их; они сели и приказали нести себя на *Vicus Patricus*⁸, к дому Авла. Инсула Петрония находилась на южном склоне Палатинского холма, около так называемых «*Carinae*»⁹; поэтому ближайший путь лежал несколько ниже Форума, но так как Петроний хотел еще зайти к золотых дел мастеру Идомену, то приказал нести их через *Vicus Apollinis*¹⁰ и Форум, в сторону *Vicus Sceleratus*¹¹, на углу которого находились всевозможные лавки.

Рослые негры подняли носилки и двинулись в путь; впереди их шли рабы, которые назывались скороходами. По временам Петроний подносил к носу свои руки, пахнувшие вервеной, казалось, обдумывая что-то, и наконец сказал:

– Мне пришло в голову, что если твоя лесная нимфа не рабыня, то она сама могла бы покинуть дом Плавциев и перейти к тебе. Ты бы окружил ее любовью и засыпал богатством, как я свою обожаемую Хризотемиду, которая, между нами будь сказано, надоела мне во всяком случае не меньше, чем я ей.

Марк покачал головой.

– Нет? – спросил Петроний. – В худшем случае дело дошло бы до цезаря, и тогда ты можешь быть уверен, что, хотя бы благодаря моему влиянию, наш Меднобородый был бы на твоей стороне.

– Ты не знаешь Лигии! – возразил Виниций.

– Позволь тебя спросить, знаешь ли ты ее иначе, чем по наружности? Говорил ли ты с ней? Признавался ей в любви?

– Я видел ее сначала у фонтана, а потом еще два раза встретил ее. Помню, что во время пребывания своего у Авла я помещался в боковой вилле, предназначенной для гостей, и так как у меня была разбитая рука, то я не мог являться к общему столу. И только накануне отъезда я встретил Лигию за ужином и не мог ей сказать ни слова. Я должен был слушать Авла и его

⁷ Занавес.

⁸ Улица Патрициев.

⁹ Богатый аристократический квартал.

¹⁰ Улица Аполлона.

¹¹ Вилус-Сцелератус (лат.) – Злодейская улица.

рассказы о победах, которые он одержал в Британии, а потом об упадке мелкого землевладения в Италии, которому еще Лициний Сталон старался помешать. Вообще я не знаю, способен ли был говорить о чем-нибудь другом, и ты и не воображай, что тебе удастся этого избежать, разве если ты предпочтешь послушать о распушенности нынешних времен. У них там в курятнике есть фазаны, но они их не едят на том основании, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Другой раз я встретил ее у садовой цистерны, – она погружала в воду кисть тростника и кропила ею ирисы, которые росли вокруг. И клянусь тебе щитом Геркулеса: колени мои не дрожали, когда тучи парфян с воем неслись на наши отряды, но тут они задрожали. И, смутившись, как мальчик, который еще носит буллу на шее, я только глазами молил о жалости, но не мог произнести ни слова.

Петроний взглянул на него как бы с завистью.

– Счастливый! – сказал он. – Как бы жизнь и весь мир не были дурны, одно останется вечно прекрасным – это любовь!.. И ты не заговорил с ней? – прибавил он через несколько времени.

– Напротив. Придя немного в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что разбил себе руку под самым городом и нестерпимо страдал, но в ту минуту, когда мне приходится покидать этот гостеприимный дом, я вижу, что страдания в нем приятнее, чем наслаждения в каком-нибудь другом месте, и болезнь – лучше здоровья. Она слушала меня тоже смущенная и опустив голову и тростником чертила что-то на песке. Потом она подняла глаза, еще раз взглянула на то, что начертила, потом снова посмотрела на меня, как бы желая спросить о чем-то, и вдруг убежала, как дриада перед глупым фавном.

– У нее, должно быть, красивые глаза?

– Как море – и я утонул в них так же, как в море. Поверь мне, архипелаг далеко не такой лазурный. Тут скоро прибежал маленький Плавций и начал о чем-то расспрашивать. Но я не понял, чего он хочет.

– О, Афина! – воскликнул Петроний. – Сними с глаз этого юноши повязку, которую завязал ему Эрот, потому что иначе он разобьет себе голову о колонны храма Венеры! Слушай, ты – весенняя почка на дереве жизни, – обратился он снова к Виницию, – первая зеленая ветка винограда! Вместо того чтобы отправляться в дом Плавциев, нужно было бы отнести тебя к Гелоцию, у которого есть школа для незнающих жизни юношей!

– Чего ты, собственно, хочешь?

– А что она начертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное стрелой, или что-нибудь в этом роде, из чего ты мог бы понять, что Сатир уже нашептывал на ушко этой нимфе разные тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки!

– Я раньше надел тогу, чем ты думаешь, – сказал Виниций, – и прежде чем прибежал маленький Авл, я очень усердно рассматривал эти знаки. Ведь я же знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которых не хотят выговорить их уста... Ну, угадай, что она начертила!

– Если не то, что я говорил, так не отгадаю.

– Рыбу.

– Как ты сказал?

– Я говорю: рыбу. Означало ли это, что до этой минуты у нее в жилах текла холодная кровь? – не знаю. Но ты, который назвал меня весенней почкой на дереве жизни, наверно, сумеешь лучше разгадать этот знак.

– Carissime!¹² Об этом спроси Плиния. Он знаток по части рыб. Если бы старый Апиций был еще жив, может быть, он также мог бы что-нибудь рассказать тебе об этом, потому что в течение своей жизни съел больше рыб, чем может их вместить Неаполитанский залив.

¹² Дорогой мой!

Но дальнейшая беседа прекратилась, потому что они очутились на людной улице, и шум мешал их разговору. Миновав Vicus Apollinis, они повернули на Forum Romanum¹³, где в ясные дни, перед заходом солнца, собирались толпы праздного люда, чтобы погулять между колоннами, рассказать новости и послушать их, посмотреть на знатных людей, которых проносили мимо в носилках, и, наконец, заглянуть в лавки с золотыми вещами, с книгами, в меняльные лавки, посмотреть на материи и бронзовые изделия и всякие другие, которыми полны были дома, обнимающие часть рынка, расположенного напротив Капитолия. Часть Форума, прилегающая к отвесу горы, уже окуталась тенью, но колонны храмов, расположенных выше, блестели на ярком фоне лазури, а нижележащие бросали продолговатые тени на мраморные плиты. Зданий и колонн было так много, что взоры терялись среди них точно в лесу: казалось, им всем было тесно рядом. Одни громоздились над другими, разбегались вправо и влево, взбирались на холмы, прижимались к дворцовой стене или друг к другу, наподобие больших и маленьких, толстых и тонких, золотистых и белых стволов, то расцветающих под архитравом цветом аканта, то украшенных ионическим завитком, то заканчивающимися дорическим квадратом. Над этим лесом сверкали цветные триглыфы, из-за тимпанов выступали статуи богов с вершин, крылатые золоченые колесницы, казалось, хотели улететь туда, в эту лазурь, которая спокойно охватывала этот огромный город храмов. Посередине рынка и по краям его текла людская река: толпы прохаживались под арками базилики Юлия Цезаря, сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса и кружились около маленького храма Весты, напоминая разноцветных мотыльков и жуков, кружащихся на мраморном фоне. Сверху, по широкой лестнице, со стороны храма, посвященного «Jovī optimo maximo»¹⁴, набегали новые волны. Вблизи Rostrae слушали каких-то ораторов, там и сям слышались выкрики торговцев, продающих плоды, вино или воду, перемешанную с фиговым соком, зазывания обманщиков, продающих чудодейственные лекарства гадалщиков, которые сообщали, где укрыты клады, толкователей снов. Кое-где к общему шуму примешивались звуки систры, египетской самбуки или греческой флейты. В других местах больные, благочестивые или убитые горем люди несли жертвы в храмы. Среди групп людских, в ожидании жертвенного зерна, слетались целыми стаями голуби, издали походя на серые подвижные пятна; они вдруг взлетали, громко хлопая крыльями, потом снова опускались на освободившиеся от людей места. От времени до времени толпа расступалась перед носилками, в которых виднелись красивые женские лица или головы сенаторов и патрициев, с как бы застывшими и окаменевшими чертами лица; разноязычная толпа громко называла их имена, прибавляя к ним прозвища, издевательства или похвалы. Беспорядочную толпу по временам раздвигали мерным шагом отряды солдат или стражи, наблюдающих за уличным порядком. Греческий язык слышался так же часто, как и латинский.

Виниций, который давно не был в городе, с любопытством глядел на этот человеческий муравейник и на этот «Forum Romanum», который господствовал над людской волной и в данную минуту был залит ею. Петроний как бы угадал мысль своего спутника и назвал форум «гнездом квиритов без квиритов». Действительно, местные жители как бы пропадали в этом сборище всевозможных племен и народов. Тут были и эфиопы, и светловолосые великаны с дальнего севера, британцы, галлы, германцы, косоглазые обитатели Серикума, краснобородые жители Евфрата и Инда с бородами, окрашенными в кирпичный цвет, сирийцы с берегов Оронта с черными ласкающими глазами, высохшие, как кость, жители аравийской пустыни, евреи с запавшей грудью, египтяне с вечной равнодушной улыбкой на лице, нумидийцы, африканцы, греки из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали над городом, но завоевавшие его знанием, искусством, умом и плутовством, греки с островов и из Малой Азии и из Египта, Италии и Нарбоннской Галлии. Среди рабов с проколотыми ушами не было недо-

¹³ Римский Форум.

¹⁴ «Юпитеру Наилучшему и Величайшему».

статка и в свободных праздных людях, которых цезарь забавлял, кормил и даже одевал; немало было здесь и вольных пришельцев, которых привлекала легкость жизни большого города и надежда наживы; тут не было недостатка в купцах и жрецах Сераписа с пальмовыми ветками в руках; тут были и жрецы Изиды, к алтарю которой приносили больше жертв, чем в храм Зевса Капитолийского, жрецы Кибелы, несущие в руках золотистую кукурузу, и жрецы странствующих божеств; танцовщицы восточные, с блестящими головными уборами, и продавцы амулетов, укротители змей, халдейские маги, наконец, люди, не имеющие никаких занятий, которые каждую неделю приходили сюда за хлебом, дрались из-за лотерейных билетов в цирках, проводили ночи в развалившихся домах заречного квартала, а теплые и солнечные дни – в криптопортиках, в грязных трактирах Субурри, на мосту Мильвия, или перед инсулами зажиточных людей, откуда им иногда выбрасывали остатки со стола рабов.

Петрония знали хорошо в этой толпе. До слуха Виниция беспрестанно доносилось: «*Nic est!*» – «это он!» Его любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с тех пор, когда узнали, что он перед цезарем ратовал против смертной казни, к которой была приговорена вся «фамилия» префекта Педания Секунда, т. е. все рабы, без различия возраста и пола, за то, что один из них убил в минуту отчаяния этого тирана. Правда, Петроний громко повторял, что ему было, в сущности, совершенно все равно и что он говорил об этом с цезарем в частной беседе, как *arbiter elegantiarum*, эстетическое чувство которого возмущалось против этой варварской резни, достойной каких-нибудь скифов, а не римлян. Тем не менее народ, который возмутился против этой казни, с той поры полюбил Петронию.

Но Петроний не дорожил этим. Он помнил, что народ любил также и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую он приказал казнить, и Октавию, которую задушили в Пандатарии, предварительно вскрыв ей жилы в горячей ванне, и Рубелия Плавта, который был изгнан, и Тразея, который ежедневно ждал смертного приговора. Любовь народа скорее можно было считать дурным предзнаменованием, а Петроний, несмотря на весь свой скептицизм, не был чужд предрассудков. Он пренебрегал толпой вдвойне: как аристократ и как эстетик. Люди, от которых пахло сушеными бобами, носимыми за пазухой, и которые вечно хрипели и потели от игры в мору по перекресткам улиц и в перистилиях, не заслуживали в его глазах названия людей. Не отвечая ни на рукоплескания ни на посылаемые ему воздушные поцелуи, он рассказывал Марку о деле Педания, глумясь над изменчивостью уличной сволочи, которая через день после грозного возмущения рукоплескала Нерону, приехавшему в храм Зевеса Статора. Перед книжной лавкой Авирна он приказал остановиться и, вышедши из носилок, купил разукрашенную рукопись, которую отдал Виницию.

– Это тебе подарок, – сказал он.

– Благодарю! – отвечал Виниций. – Сатирикон? – спросил он, взглянув на заглавие. – Это что-то новое. Чье это?

– Мое. Но я не хочу идти по стопам Руффина, историю которого я должен тебе рассказать, или по стопам Фабриция Вейента; поэтому об этом никто не знает, и ты никому не говори.

– А ты еще говорил, что не пишешь стихов, – сказал Виниций, заглянув в середину рукописи, – а я тут вижу прозу вперемежку со стихами.

– Когда ты будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхия; что касается стихов, то они мне опротивели с тех пор, как Нерон стал писать поэму. Вителлий, видишь ли, для облегчения желудка засовывает себе палочки из слоновой кости в горло, другие с той же целью употребляют перья фламинго, намоченные в оливковом масле или в настое трав... Я читаю стихи Нерона, а результат один и тот же: потому я могу их похвалить если не с чистой совестью, то с чистым желудком.

Тут он остановил снова носилки перед золотых дел мастером Идоменом и, покончив у него с драгоценными камнями, приказал нести себя прямо к дому Авла.

– По дороге я расскажу тебе историю Руффина, чтобы объяснить тебе, до чего может дойти авторское самолюбие, – сказал Петроний.

Но, прежде чем он успел начать свой рассказ, они повернули на Vicus Patricius и совершенно неожиданно очутились перед домом Авла.

Молодой и рослый привратник – «janitor» – отворил им дверь, ведущую в прихожую; сорока, сидевшая в клетке, повешенной над этой дверью, приветствовала их визгливым «salve!»¹⁵ При переходе их из вторых сеней в атрий Виниций сказал:

– Заметил ли ты, что привратник здесь без цепей?

– Это странный дом, – отвечал вполголоса Петроний. – Ты, вероятно, знаешь, что Помпонию Грецину подозревают в исповедании восточного суеверия, основанного на почитании какого-то Христа. Кажется, эту услугу оказала ей Криспинилла, которая не может простить Помпонии, что ей на всю жизнь хватило одного мужа. – Univira!..¹⁶ В нынешнее время легче в Риме найти блюдо рыжиков из Норикума. Ее судили домашним судом.

– Ты прав, что это странный дом! Потом я расскажу тебе, что я здесь слышал и видел.

Тем временем они очутились в атрии. Раб-atriensis¹⁷, заведующий атрием, послал номен-клатора объявить хозяевам о приходе гостей, и одновременно с этим слуга пододвинул им кресла и скамеечки под ноги. Петроний, который, воображая себе, что в этом мрачном доме господствует вечная скорбь, никогда не бывал в нем, теперь с изумлением оглядывался вокруг, как бы сознавая свою ошибку, так как атрий производил скорее веселое впечатление. Сверху сквозь большое отверстие падал целый сноп яркого света, который, отражаясь в фонтане, преломлялся на тысячи искр. Квадратный бассейн импловий с фонтаном посередине, предназначенный для стока дождевой воды, которая во время непогоды падала через отверстие, был окружен анемонами и лилиями. По-видимому, лилии пользовались особенной любовью в этом доме, потому что их были целые кусты: белые и красные, – голубоватые ирисы, нежные лепестки которых были как бы посеребрены водяной пылью. Среди влажного мха, в котором спрятаны были горшки лилий, виднелись небольшие бронзовые статуи, изображающие детей и птиц. В одном из углов лань, также вылитая из бронзы, наклонила свою головку, заплесневшую от сырости, к воде, точно желала напиться. Пол в атриуме был мозаичный, стены, частью выложенные красным мрамором, частью с расписанными на них деревьями, рыбами, птицами и грифами, приятно тешили глаз игрой красок. Дверные косяки были украшены черепахой и даже слоновой костью; у стен, между дверями, стояли статуи предков Авла. Во всем сказывалось довольство, но не расточительность, благородное и не бьющее в глаза.

Однако Петроний, который жил гораздо роскошнее и пышнее, не мог здесь найти ни единой вещи, которая бы неприятно разила его глаз, и с этим именно замечанием он обратился было к Виницию, но в эту минуту раб-velarius¹⁸ отодвинул занавес, отделяющий атрий от таблина¹⁹, и в глубине показался поспешно идущий к ним Авл Плавций.

Это был человек, приближавшийся уже к закату жизни, с седой головой, но бодрый, с энергичным лицом, несколько напоминавшим голову орла. Теперь на его лице можно было прочесть изумление и даже беспокойство, вызванное неожиданным посещением приятеля Нерона, его собеседника и наперсника.

Но Петроний был слишком светский и проницательный человек, чтобы этого не заметить, и поэтому после первых приветствий он со свойственным ему искусством непринужденно и просто объяснил, что он пришел поблагодарить за те заботы, которые были оказаны

¹⁵ Здравствуй!

¹⁶ Одномужница.

¹⁷ Смотритель дома.

¹⁸ Раб, раздвигавший занавеси.

¹⁹ Крытая терраса.

здесь сыну его сестры, и что только благодарность служит причиной его посещения, на которое давало ему право его давнишнее знакомство с Авлом.

Авл со своей стороны стал уверять Петрония, что он желанный гость, а что касается благодарности, то он и сам чувствует ее, хотя, наверное, Петроний не догадывается по какому поводу.

Действительно, Петроний не догадывался. Напрасно, подняв кверху свои ореховые глаза, силился он припомнить хоть малейшую услугу, оказанную им Авлу или кому-нибудь иному. Он не мог ничего вспомнить, кроме той, которую намеревался оказать теперь Виницию. Помимо его желания могло случиться что-нибудь подобное, но только – помимо.

– Я люблю и очень уважаю Веспасиана, – отвечал Авл, – которому ты спас жизнь, когда однажды он, на свое несчастье, заснул во время чтения стихов цезаря.

– Наоборот, это было для него большое счастье, – возразил Петроний, – потому что он их не слышал, но я не отрицаю, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый во что бы то ни стало хотел послать к нему центуриона с дружеским поручением вскрыть себе жилы.

– А ты, Петроний, высмеял его.

– Это правда или, вернее, нет! Я сказал ему, что если Орфей умел песнями усыплять диких зверей, то его победа равносильна, если он сумел усыпить Веспасиана. Меднобородого можно порицать, но с тем условием, чтобы в маленьком порицании заключалась большая лесть. Наша милостивая Августа Поппея очень хорошо это понимает.

– Теперь, к несчастью, такие времена, – сказал Авл. – Вот у меня спереди не хватает двух зубов, которые мне выбил камнем британец, и поэтому я плохо выговариваю, а все-таки я скажу, что в Британии я провел самые счастливые дни...

– Потому что это были дни побед! – прибавил Виниций.

Но Петроний, испугавшись, что старый вождь начнет рассказывать о своих былых походах, переменял предмет разговора. Он рассказал, что в окрестностях Пренесты крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, что третьего дня во время последней бури молния сорвала угольник с храма Луны, что было неслыханным явлением в столь позднюю осень; что некий Котта, который рассказал ему об этом, прибавил, что жрецы этого храма предсказывают на основании этих знамений падение города или, по крайней мере, гибель великого дома, и что это несчастье можно отвратить только чрезвычайными жертвами.

Авл, выслушав рассказ, заметил, что такими предостережениями нечего пренебрегать. Что боги в самом деле могут быть разгневаны преступлениями, переполнившими чашу, – в этом не было бы ничего удивительного, а в таком случае искупительные жертвы совершенно уместны.

– Твой дом, Плавций, не особенно велик, – отвечал на это Петроний, – хотя в нем и живет великий человек; мой же слишком велик для такого ничтожного владельца, но и он в сущности довольно незначителен. Если же идет речь о разрушении какого-нибудь большого дома, например, вроде «domus transitoria»²⁰, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его разрушение.

Плавций ничего не отвечал на этот вопрос; осторожность его несколько кольнула Петрония, потому что при полном отсутствии понимания разницы между добром и злом он никогда не был доносчиком и с ним можно было разговаривать совершенно безопасно. Поэтому Петроний снова переменял предмет разговора и стал расхваливать жилище Плавция и хороший вкус, господствующий в доме.

– Это старое помещение, – отвечал Авл, – в котором я ничего не изменил с тех пор, как оно перешло ко мне по наследству.

²⁰ «Проходной дом» – название дворца Нерона на Палатине и Эсквiline; позднее стал называться «Золотой дворец».

Когда отдернут был занавес, отделявший атрий от таблина, дом можно было видеть насквозь, так что через таблин, расположенный за ним перистиль и большой зал, называемый «оесус», виднелся сад, который издалика казался светлой картиной в темной раме. Веселый детский смех долетал оттуда в атрий.

– Ах, – сказал Петроний, – позволь нам вблизи послушать этот искренний смех, столь редкий в наше время!

– Охотно, – отвечал Плавций вставая, – это мой маленький Авл и Лигия играют в мяч. Но что касается смеха, мне кажется, Петроний, что вся твоя жизнь проходит в нем.

– Жизнь достойна смеха, и поэтому я смеюсь, – отвечал Петроний, – но этот смех звучит иначе.

– Впрочем, Петроний, – прибавил Виниций, – не смеется по целым дням, а по целым ночам!

Разговаривая таким образом, они прошли по всему дому и очутились в саду, в котором Лигия и маленький Авл играли в мячи; рабы, предназначенные исключительно для этой игры, сферисты, подымали мячи с земли и подавали их играющим. Петроний бросил быстрый мимолетный взгляд на Лигию, а маленький Авл, узнав Виниция, подбежал к нему. Виниций, проходя, склонил голову перед красивой девушкой, которая так и осталась с мячом в руке, с несколько растрепавшимися волосами, немного запыхавшись и зарумянившись. Но в садовом триклинии, заросшем плющом, виноградом и жимолостью, сидела Помпония Грецина, и все пошли к ней поздороваться. Хотя Петроний и не бывал в доме Плавция, но был знаком с ней, так как он встречал ее у Антистии, дочери Плавта, у Сенеки и Полиона. Он не мог побороть в себе чувства изумления, которое вызывали в нем ее грустное, но спокойное лицо, благородство ее осанки, движений, речи. Помпония до такой степени противоречила его понятиям о женщине, что этот человек, самоуверенный, как никто в целом Риме, и испорченный до мозга костей, не только питал к ней полное уважение, но даже терял в ее присутствии свою самоуверенность. Так и теперь, благодаря ее заботы о Виниции, он невольно употребил выражение «domina»²¹, которое никогда не приходило ему в голову, когда он разговаривал, например, с Кальвией, Криспиниллой, с Скрыбонией, с Валерией, Солиной и другими великосветскими женщинами. После обычных приветствий Петроний стал жаловаться на то, что Помпония так редко показывается в свете, что ее нельзя встретить ни в цирке, ни в амфитеатре. Она спокойно отвечала ему, положив руку на руку своего мужа:

– Мы стареемся и оба начинаем все больше любить домашнюю тишину.

Петроний хотел возражать, но Авл Плавций прибавил своим свистящим голосом:

– И нам все больше кажутся чуждыми люди, которые даже наших римских богов называют греческими именами.

– Боги с некоторого времени превратились в риторические образы, – ведь риторике учили нас греки, поэтому мне самому легче сказать, например, Гера, чем Юнона.

Сказав это, он взглянул на Помпонию, как бы желая дать понять, что в ее присутствии он и думать не может о другом божестве, и сейчас же начал возражать на то, что она сказала о старости:

– Действительно, люди скоро стареются, но те, которые живут совершенно другою жизнью; кроме того, есть лица, о которых Сатурн как бы забывает.

Петроний говорил это совершенно искренно, потому что Помпония Грецина хотя и переступила через полдень жизни, но сохранила необычайную свежесть лица, и так как она, кроме того, обладала небольшой головкой и мелкими чертами лица, то минутами, несмотря на темную одежду, несмотря на степенную осанку и скорбь, казалась еще совсем молодой женщиной.

²¹ Госпожа.

Между тем маленький Авл, который во время пребывания Виниция у нее в доме очень подружился с ним, подошел к нему и стал упрашивать его поиграть с ними вместе в мяч. Вслед за мальчиком в триклиний вошла и Лигия. Освещенная пробивающимся сквозь листву плюща дрожащим солнечным светом, она показалась теперь Петронию более красивою, чем при первом взгляде, и действительно похожую на какую-то нимфу. Так как до сих пор Петроний еще ни слова не сказал ей, то он встал, наклонил перед ней голову и вместо обычных приветствий стал цитировать слова, которыми Одиссей встретил Навзикаю:

Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба,
То с Артемидою только, великою дочерью Зевса,
Можешь сходна быть лица красотой и станом высоким;
Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
То несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны братья
твои...

Даже Помпонии понравилась изысканная вежливость этого светского человека. Что касается Лигии, то она слушала его смущенная, не смея поднять глаз. Но мало-помалу в углах ее рта заиграла задорная улыбка, на лице отразилась борьба между девичьей стыдливостью и желанием ответить, – очевидно, это последнее желание превозмогло, потому что, взглянув вдруг на Петронию, она ответила ему словами той же Навзикаи, без остановок, точно заученный урок:

– Странник, конечно, твой род знаменит, ты, я вижу, разумен... – И, повернувшись на месте, убежала, как испуганная птичка.

Теперь была очередь Петрония изумляться: не ожидал он услышать гомеровские стихи в устах девушки, о варварском происхождении которой он слышал от Виниция. Он вопросительно взглянул на Помпонию, но та не могла ответить ему, потому что с улыбкой глядела на старого Авла, на лице которого выражалась гордость.

Он не мог скрыть этого чувства. Во-первых, он полюбил Лигию как собственного ребенка, а во-вторых, несмотря на свои староримские предубеждения, восстановлявшие его против греческого языка и его распространения, он считал знание его верхом воспитанности. Сам он никогда не мог хорошенько научиться ему, о чем он тайно очень сожалел, а потому был очень рад, что этому изящному человеку и вместе с тем писателю, который считал его дом чуть ли не варварским, ответили в нем стихом и языком Гомера.

– У нас есть в доме педагог-грек, – сказал он, обратившись к Петронию, – который учит нашего мальчика, а девушка прислушивается к его урокам. Это еще птенчик, но милый птенчик, и мы очень привязались к ней.

Петроний глядел сквозь ветви плюща и винограда в сад на играющих в мяч. Виниций сбросил тогу и в одной тунике только подбрасывал мяч, который Лигия, стоявшая против него с поднятыми руками, старалась поймать. С первого взгляда девушка не произвела на Петронию сильного впечатления. Она показалась ему слишком тонкой. Но с той минуты, когда он в триклинии присмотрелся к ней вблизи, он подумал, что именно такую бы могла быть утренняя заря, и, как знаток, понял, что в ней есть что-то необыкновенное. Он все принял во внимание и все оценил: и розовую прозрачную кожу, и румяные губы, как бы сложенные для поцелуя, и небесные, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышность темных волос, отливающих янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную покатость плеч, и всю тонкую гибкую фигуру, юную, как юный май и только что распустившийся цветок. В нем проснулся артист и поклонник красоты; он понял, что под статуей этой девушки можно было бы подписать: «Весна». Вдруг он вспомнил Хризотемиду и готов был засмеяться. С своей золотой пудрой на волосах и насурьмленными бровями она показалась ему вдруг совершенно увядшей, чем-то в роде пожелтелой розы, теряющей свои лепестки. А

между тем за эту Хризотемиду завидует ему весь Рим. Потом он вспомнил Поппею – и эта прославленная Поппея тоже показалась ему бездушной восковой маской. Эта девушка, с танагрскими чертами лица, походила не только на весну, – она напоминала и лучезарную Психею: казалось, лучи просвечивали сквозь ее розовое тело.

«Виниций прав, – подумал Петроний, – а моя Хризотемида стара, стара... как Троя!» – и, обратившись к Помпонии Грецине и показав на сад, сказал:

– Я теперь понимаю, *domina*, что имея таких детей, вы предпочитаете свой дом цирку и пиршествам на Палатинском холме.

– Да, – ответила она, смотря в ту сторону, где были маленький Авл и Лигия.

А старый вождь стал рассказывать историю девушки и то, что он много лет назад слышал от Ателия Гистера о лигийском народе, живущем на мрачном севере.

Между тем в саду игра была кончена и некоторое время все трое прохаживались по песчаным дорожкам, выделяясь на темном фоне кипарисов и мирт, как три белые статуи. Лигия держала маленького Авла за руку. Походив немного, они сели на скамью около рыбного садка, занимающего середину сада, но через минуту Авл сорвался с места и стал пугать рыбу в прозрачной воде, а Виниций продолжал разговор, начатый во время прогулки.

– Да, – говорил он низким, дрожащим голосом. – Едва я сбросил претексту²², меня послали в азиатские легионы. Я не знал ни жизни, ни любви. Помню несколько стихов Анакреона и Горация, но не сумел бы так, как Петроний, сказать стихи в ту минуту, когда разум немеет от восторга и не находит собственных слов. Мальчиком я ходил в школу Музония, который говорил нам, что счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, и, следовательно, зависит от нашей воли. Но я думаю, что есть другое, большее и лучшее счастье, которое не зависит от нашей воли, потому что только любовь может дать его. Этого счастья ищут и сами боги... Вот и я, Лигия, который до сих пор не знал любви, иду по их следам и ищу ту, которая захотела бы дать мне это счастье...

Он замолчал, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Авл бросал камешки, чтобы пугать рыбу. Но через минуту Виниций снова заговорил, еще более мягким и тихим голосом:

– Ты ведь знаешь Тита, сына Веспасиана. Говорят, что, едва выйдя из детского возраста, он полюбил Веронику и что тоска по ней чуть не засосала его... Так и я умел бы любить, Лигия!.. Богатство, слава, власть – это один звук, дым! Богатый всегда найдет более богатого, славного затмит более славный, могущественного – более могущественный. Но разве сам цезарь, разве даже боги могут испытывать большее наслаждение или быть счастливее, чем простой смертный в ту минуту, когда у своей груди он чувствует дыхание другой дорогой груди или когда его целуют уста любимые... Любовь, Лигия, равняет нас с богами!

Она слушала с тревогой, с изумлением и с таким чувством, точно внимала звукам греческой флейты или цитры. Минутами ей казалось, что Виниций поет какую-то чудную песнь, которая льется ей в душу, волнует ее кровь и охватывает сердце каким-то томлением, страхом, какой-то неизъяснимой радостью. Ей казалось также, что он говорит что-то такое, что было раньше в ней самой, но что она не умела объяснить себе. Она чувствовала, что в ней пробуждается что-то, что дремало до этой минуты, и что теперь неясный, туманный сон принимает все более определенный вид, все более прекрасный, желанный...

А тем временем солнце давно уже перешло за Тибр и стояло низко за Яникульским холмом. На неподвижные кипарисы пал багровый свет, и весь воздух был как будто насыщен им. Лигия подняла свои голубые глаза на Виниция, как бы проснувшись от сна, и вдруг, в отблеске вечерней зари, склоненный с трепетной мольбой в глазах Виниций показался ей более пре-

²² Одежда, которую римляне носили до 17 лет.

красным, чем все люди, чем все римские и греческие боги, статуи которых она видала на фронтонах храмов. А он легко взял ее руку и спросил:

– Разве ты не догадываешься, Лигия, зачем я говорю тебе об этом?..

– Нет, – прошептала она так тихо, что Виниций едва расслышал.

Но он не поверил ей и, все сильнее притягивая к себе ее руку, он прижал бы ее к своему сердцу, которое билось в груди его, как молоток, под влиянием страсти, и прямо излил бы ей свою любовь, если бы в эту минуту на дорожке, окаймленной миртами, не показался старый Авл.

– Солнце заходит, – сказал он, – берегитесь вечернего холода и не шутите с Либитиной...

– Нет, – отвечал Виниций, – я без тоги, но мне не холодно.

– А вот уж только половина солнца выглядывает из-за горы, – отвечал старый воин. – Ведь это не благодарный воздух Сицилии, где по вечерам народ собирается на рынках, чтобы хором воспеть Феба и проститься с ним...

И забыв, что за минуту он сам советовал остерегаться Либитины, он начал рассказывать о Сицилии, где у него были поместья и большое сельское хозяйство, которое он очень любил. Он вспомнил также, что ему не раз приходило в голову переселиться в Сицилию и там спокойно доживать свой век. Не надо этих зимних морозов тому, кому зимы убелили голову. Еще листья не падают с деревьев и над городом усмехается ласковое небо, но когда виноград пожелтеет, когда снег упадет на Албанские горы, а боги нашьют на Кампанию пронизывающие ветры, тогда, кто знает, может, он и перенесется со всем своим домом в свою уединенную деревенскую обитель.

– Ты хотел бы покинуть Рим, Плавций? – спросил Виниций с внезапно охватившим его беспокойством.

– Это мое давнишнее желание, – отвечал Авл, – потому что там спокойнее и безопаснее.

И он снова стал расхваливать свои сады, стада, дом, потонувший в зелени, и холмы, поросшие чабрецом и кустарником, на которых безостановочно жужжат рои пчел. Но Виниций не обращал уже внимания на это идиллическое описание и, думая только о том, что он может потерять Лигию, он поглядывал на Петронию, как бы от одного его ожидая спасения. А тем временем Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и стоящими у садка людьми. Их белые одежды на темном фоне миртов отливали золотистыми отблесками заката. На небе заря стала окрашиваться в пурпурно-фиолетовый цвет и заиграла как опал. Небесный свод становился лиловым. Черные силуэты кипарисов выделились еще резче, чем днем, и в сумерках водворилась полнейшая тишина.

Петрония поразила эта тишина, этот мир, охвативший и природу и людей. На лице Помпонии, старого Авла, их сына и Лигии было что-то, чего не видывал он на тех лицах, которые окружали его ежедневно или, лучше сказать, еженочно: тут был какой-то свет, какое-то умиротворение и какая-то ясность, вероятно – следствие той жизни, которую все они жили. И он с изумлением понял, что могут существовать красота и радости, которых он, вечно гонящийся за красотой и радостями, еще не испытал. Он не мог скрыть этих мыслей и, обратившись к Помпонии, сказал:

– Я размышлял, как отличен ваш мир от того, которым владеет Нерон.

Она обратила свое лицо к вечерней заре и ответила просто:

– Миром владеет не Нерон, а Бог.

Наступила полная тишина. Вблизи триклиния слышались шаги старого воина, Виниция, Лигии и маленького Авла, но прежде чем они подошли, Петроний спросил ее:

– Значит, ты веришь в богов, Помпония?

– Я верую в Бога единого, всемогущего и справедливого, – отвечала жена Авла Плавция.

III

– Она верует в Бога единого, всемогущего и справедливого, – повторил Петроний в ту минуту, когда снова очутился в носилках с глазу на глаз с Виницием. – Если же Бог всемогущий, значит, в его руках жизнь и смерть, а если он справедлив, то и смерть посылает справедливо. Зачем же тогда Помпония носит траур по Юлии? Своею скорбью она оскорбляет своего бога. Нужно будет повторить это рассуждение нашей меднобородой обезьяне; я прихожу к заключению, что в диалектике я не уступлю и Сократу. А что касается женщин, я согласен, что каждая имеет три или четыре души, но ни одной нет души разумной. Следовало бы Помпонии поговорить с Сенекой и Корнутом о том, что такое их великое «Логос». Пусть бы они вместе вызывали тени Ксенофана, Парменада, Зенона и Платона, которые тоскуют там, в Кимерийских краях, как чижи в клетке. Я собирался говорить с ней и Плавцием совсем о другом. Клянусь священным чревом египетской Изиды, если бы я прямо объявил, зачем мы пришли, их добродетель задребезжала бы как медный щит, по которому ударили палкой! И не посмел! Поверишь ли, Виниций, не посмел! Павлины – красивые птицы, но крик их отвратителен. Я испугался их крика. Однако я должен похвалить твой выбор: настоящая «розопестрая заря»... И знаешь, что она мне еще напоминает? – Весну! И не нашу итальянскую, с кое-где только одевшимися цветами яблонями и серыми оливками, но ту весну, которую я когда-то видел в Гельвеции, – молодую, свежую, светло-зеленую... Клянусь бледной Селеной! Я нисколько, Марк, тебе не удивляюсь, но знай, что ты влюблен в Диану, и что Помпония и Авл готовы тебя растерзать, как некогда псы растерзали Актеона.

Виниций, поникнув головой, молчал, потом заговорил прерывающимся от страсти голосом:

– Я жаждал ее и раньше, а теперь жажду еще сильнее. Когда я взял ее руку, меня охватило пламенем... Она должна быть моей. Если бы я был Зевсом, я окутал бы ее тучей, как он окутал Ио, или пролился бы на нее дождем, как он пролился на Данаю. Я хотел бы целовать уста ее до боли. Я хотел бы слышать ее крик в моих объятиях, хотел бы убить Авла и Помпонию, а ее похитить и на руках донести до моего дома. Я сегодня не засну. Я прикажу бичевать кого-нибудь из рабов и буду слушать его стоны...

– Успокойся! – сказал Петроний. – Что за желания, – как у плотника с улицы Субурры.

– Мне все равно. Она должна быть моей. Я пришел к тебе за советом, но если ты не найдешь средства, я сам найду его... Авл считает Лигию дочерью, зачем же мне смотреть на нее как на рабыню? Поэтому, если нет другого пути, пусть она обовьет двери моего дома, пусть намажет их волчьим салом и сядет у моего очага как законная жена моя!

– Успокойся, безумный потомок консулов. Не затем приводим мы варваров за нашими колесницами на веревках, чтобы потом жениться на их дочерях. Избегай крайностей! Сначала постарайся найти подходящий способ и дай себе и мне время обдумать это дело. Хризотемида также казалась мне дочерью Зевса, а ведь не женился же я на ней, – точно так же и Нерон ведь не женился на Актее, хотя ее и считали дочерью царя Аттала... Успокойся... Подумай, что если она захочет покинуть Авлов ради тебя, они не имеют права ее удерживать; и имей в виду, что не только ты один горишь, но и в ней Эрос зажег огонь... Я это заметил, а мне можно поверить... Имей терпение! На все есть средство, но сегодня я и без того много думал, а это меня утомляет. Зато обещаю тебе, что завтра еще подумаю о твоей любви, и не будь я Петроний, если я не найду какого-нибудь средства.

Он умолк, и оба они молчали некоторое время; Виниций заговорил уже более спокойно:

– Благодарю тебя! Да вознаградит тебя Фортуна!

– Имей терпение!

– Куда ты приказал нести себя?

– К Хризотемиде.

– Счастливый! Ты обладаешь той, которую ты любишь!

– Я? Знаешь, что меня еще связывает с Хризотемидой? То, что она изменяет мне с моим собственным вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил ее, а теперь меня забавляет ее ложь и глупость. Пойдем к ней. Если она начнет с тобой заигрывать и выводить на столе буквы пальцем, смоченным в вине, так имей в виду, что я не ревнив.

И они приказали нести себя к Хризотемиде.

Уже в прихожей Петроний положил руку Виниция на плечо и сказал:

– Подожди, мне кажется, я нашел средство...

– Да вознаградят тебя все боги...

– Да, думаю, что средство верное. Знаешь что, Марк?..

– Слушаю тебя, моя Афина!

– Через несколько дней божественная Лигия будет вкушать в твоём доме плоды Деметры.

– Ты более велик, чем цезарь! – воскликнул Виниций в восторге.

IV

Петроний сдержал свое обещание.

На другой день после посещения Хризотемиды он спал, правда, целый день, но вечером приказал отнести себя на Палатинский холм и имел с Нероном тайный разговор, следствием которого было то, что на третий день перед домом Плавция появился центурион во главе десятка преторианских солдат.

Время было тревожное и страшное. Подобного рода посланцы были чаще всего вестниками смерти. Поэтому с той минуты, когда центурион ударил молотом в двери Авла и когда надсмотрщик атрия дал знак, что в сенях находятся солдаты, всем домом овладел ужас. Семья сейчас же окружила старого воина, потому что никто не сомневался, что опасность прежде всего грозила ему. Помпония, обняв его за шею, прижималась к нему, и посиневшие губы ее шептали ему быстро какие-то слова. Лигия с побледневшим, как полотно, лицом целовала его руки; маленький Авл уцепился за его тогу; из коридора, из комнат верхнего этажа, предназначенного для слуг, из бань, из подвальных помещений, из всего дома стали выбегать толпы рабов и рабынь. Послышались возгласы: «heu! heu me, miserium!» – «горе, горе нам, несчастным!» Женщины зарыдали, некоторые царапали себе лицо, накрывали головы платками.

Один только старый воин, в течение многих лет привыкший смотреть смерти прямо в глаза, оставался спокоен; его орлиное лицо стало неподвижно, как бы высеченное из камня. Уняв шум и приказав прислуге разойтись, он сказал:

– Пусти меня, Помпония! Если мой час пробил, мы успеем проститься.

И он слегка отстранил ее.

– Дай Бог, чтобы твоя участь была бы и моей, Авл! – сказала она.

И, упав на колени, она стала молиться с такой силой, какую может дать только страх за дорогое существо.

Авл прошел в атрий, где ждал его центурион. Это был старый Кай Гаста, его прежний подчиненный и товарищ по британским войнам.

– Привет тебе, вождь! – сказал он. – Я принес тебе приказ и привет от цезаря, а вот и таблички и знак, удостоверяющие, что я пришел от его имени.

– Благодарю цезаря за привет, а приказ я его исполню, – отвечал Авл. – Привет тебе, Гаста, скажи – какой приказ ты принес?

– Авл Плавций, – начал Гаста, – цезарь узнал, что в твоём доме находится дочь царя Лигийского, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал в руки римлян, в

залог того, что границы империи никогда не будут нарушены лигийцами. Божественный Нерон благодарен тебе, вождь, за то, что ты в течение долгих лет оказывал ей гостеприимство, но, не желая больше обременять твой дом, а также принимая во внимание, что девушка эта, как заложница, должна находиться под защитой самого цезаря и сената, – приказывает тебе выдать ее в мои руки.

Авл был слишком закаленный солдат и человек, чтобы, услышав приказ, позволить себе выразить горе или сказать лишнее слово, тем не менее, на лбу его появилась морщинка внезапного гнева и страдания. Когда-то перед этой морщинкой дрожали британские легионы, и даже в эту минуту на лице Гасты выразился страх. Но теперь Авл Плавций чувствовал себя беспомощным. Он некоторое время смотрел на таблички, на значок, потом, подняв глаза на старого центуриона, проговорил уже спокойно:

– Подожди, Гаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана.

И, сказав это, он пошел в другой конец дома, в залу, которая называлась «oecus», где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге.

– Никому не угрожает ни смерть, ни изгнание на далекие острова, – сказал он, – но тем не менее посол цезаря – есть вестник несчастья. Дело касается тебя, Лигия.

– Лигии? – с изумлением воскликнула Помпония.

– Да! – отвечал Авл.

И, обратившись к девушке, он продолжал:

– Лигия, ты воспитывалась в нашем доме как наше родное дитя, и мы оба с Помпонией любим тебя как дочь. Но ты ведь знаешь, что ты не наша дочь. Ты – заложница, данная Риму твоим народом, и опека над тобой принадлежит цезарю. Вот цезарь и берет тебя из нашего дома.

Вождь говорил спокойно, но каким-то странным, необыкновенным голосом. Лигия слушала его, как будто не понимая; лицо Помпонии покрылось бледностью; в дверях, ведущих из коридора в залу, снова стали показываться встревоженные лица рабынь.

– Воля цезаря должна быть исполнена, – сказал Авл.

– Авл! – воскликнула Помпония, обнимая девушку, как бы защищая ее, – лучше было бы, если б она умерла.

А Лигия, прижимаясь к груди ее, повторяла, рыдая, не находя других слов:

– Мама, мама!

Лицо Авла снова выразило гнев и страдание.

– Если бы я был один на свете, – сказал он мрачно, – я не отдал бы ее живою, и наши родственники еще сегодня принесли бы жертвы Jovi liberatori...²³ Но я не имею права губить себя и нашего ребенка, который, может быть, доживет до более счастливых времен... Я сегодня же отправлюсь к цезарю и буду умолять его отменить этот приказ. Выслушает ли он меня – не знаю. А пока будь здорова, Лигия, и знай, что и я и Помпония, мы благословили день, в который ты поселилась у нашего очага.

Сказав это, он положил руки на ее голову и, хотя он старался сохранить спокойствие, но когда Лигия, вся в слезах, взглянула на него и, схватив его руку, стала прижимать ее к своим губам, в его голосе зазвучала глубокая отеческая скорбь.

– Прощай, радость наша и свет очей наших! – сказал он.

И он быстро вышел в атрий, чтобы не поддаться волнению, не достойному римлянина и вождя.

Помпония повела Лигию в кубикул и стала ее успокаивать, утешать, ободрять словами, которые странно звучали в доме, где тут же рядом, в соседней комнате, еще стоял lararium²⁴ и

²³ Юпитер Освободитель.

²⁴ Домашнее святилище, где помещались изображения ларов.

жертвенник, на котором Авл Плавций, верный древним обычаям, приносил жертвы домашним богам.

Настал час испытания. Некогда Виргиний убил собственную дочь, чтобы освободить ее из рук Аппия; еще раньше Лукреция добровольно поплатилась жизнью за свой позор, – дом цезаря – вертеп позора, зла и преступлений. «Но мы, Лигия, знаем, почему мы не имеем права поднять на себя руку!..» Да... тот закон, по которому они обе живут, иной, великий, святой, позволяет, однако, защищаться от зла и позора, даже если бы за это пришлось поплатиться жизнью и претерпеть мученья. Кто выходит чистым из вертепа разврата, тому большая заслуга. Земля именно и есть тот вертеп, но, к счастью, жизнь на земле – одно мгновение, а потом следует воскресение из мертвых, и там царствует уже не Нерон, а милосердие и вместо страданий – радости, а вместо слез – веселье.

Потом она заговорила о себе. Да! Она спокойна, но в сердце у нее много болезненных ран. Ее Авл еще не прозрел, источник света еще не пролился на него, и сына своего она не может воспитывать, как требует того истина. И когда она подумает, что так может быть до конца жизни и что наступит час разлуки с ними, более продолжительной и ужасной, чем та, о которой они обе скорбят теперь, – она не может себе представить, каким образом она будет счастлива без них даже на небе. Сколько ночей проплакала она, сколько ночей провела в молитве, прося о помиловании. Свои страдания она отдает Богу и ждет и надеется. И теперь, когда ее постигает новое горе, когда по приказу тирана отнимают у нее дорогое существо, то, которое Авл назвал светом очей, она еще надеется, веруя, что есть сила выше силы Нерона и милосердие, которое сильнее его злости.

И она еще крепче прижала к груди своей головку девушки, которая опустила на колени и спрятала лицо свое в складках ее пеплума; долго оставалась она так, не произнося ни слова, но когда встала, лицо ее выражало спокойствие.

– Жаль мне тебя, мама, и отца, и брата, но я знаю, что сопротивление не привело бы ни к чему и только погубило бы всех вас. Но, клянусь тебе, что в доме цезаря никогда не забуду я твоих слов.

Она еще раз обняла ее шею, и потом, когда обе они вышли в оекус, Лигия стала прощаться с маленьким Авлом, со стариком греком, который был их учителем, с бывшей своей нянькой и со всеми рабами.

Один из них, высокий, плечистый лигиец, которого все в доме называли Урсом и который когда-то прибыл в числе другой прислуги с матерью Лигии в лагерь римлян, сначала упал к ногам Лигии, а затем стал на колени и перед Помпонией.

– О, *domina*, позволь мне идти с моей госпожой, чтобы служить ей и оберегать в доме цезаря.

– Ты не нам слуга, а Лигии, – отвечала Помпония Грепина, – но разве тебя пустят на порог дома цезаря? и каким образом станешь ты оберегать ее?

– Не знаю, *domina*, знаю только, что в моих руках железо ломается как дерево...

Авл Плавций, который вошел в эту минуту, узнав, в чем дело, не только не воспротивился желанию Урса, но сказал, что они не имеют никакого права удерживать его. Они отсылают Лигию потому, что она заложница, о которой цезарь вспомнил, поэтому они должны отослать всех ее людей, которые вместе с ней переходят под защиту цезаря. И тут он шепнул Помпонии, что под видом свиты она может послать с Лигией столько рабынь, сколько найдет нужным, потому что центурион не смеет отказаться принять их.

Для Лигии это было утешение, и Помпония тоже была рада, что она может окружить ее слугами по своему выбору. Кроме Урса, она назначила старую няньку, двух кипрянок, умеющих причесывать, и двух германок-банщиц. Выбор ее пал исключительно на последователей нового учения, и так как и Урс исповедовал его уже в продолжение нескольких лет, то Помпо-

ния могла рассчитывать на верность этих слуг и вместе с тем утешать себя мыслью, что зерно истины будет посеяно в доме цезаря.

Кроме того, Помпония написала несколько слов Актее, вольноотпущеннице Нерона, поручая Лигию ее попечениям. Правда, Помпония не встречалась с ней на собраниях последователей нового учения, но она слышала от них, что Актея никогда не отказывает им в помощи и жадно читает письма Павла из Тарса; наконец, Помпонии было известно, что молодая вольноотпущенница очень печальна, что всем существом своим она совершенно не похожа на остальных женщин во дворце Нерона и что она вообще добрый гений дворца.

Гаста вызвался лично доставить Актее это письмо. Считая вполне естественным, что у царской дочери должны быть собственные слуги, он не сделал ни малейшего затруднения, чтобы взять их во дворец; он скорее удивлялся тому, что их было такое незначительное количество. Он просил только поторопиться, чтобы его не могли заподозрить в недостатке усердия при исполнении приказов.

Наступила минута разлуки. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами. Авл еще раз положил на голову Лигии свои руки, и через минуту солдаты, сопровождаемые плачем маленького Авла, который, защищая сестру, угрожал центуриону своими маленькими кулаками, уносили Лигию в дом цезаря.

Старый вождь приказал приготовить для себя носилки, а пока удалился вместе с Помпонией в пинакотеку (картинную галерею), находившуюся рядом с «оесус», и сказал ей:

– Слушай, Помпония: я отправляюсь к цезарю, хотя убежден, что это напрасно, и хотя Сенека не имеет уж никакого влияния, я отправлюсь и к нему. Теперь большое значение имеют Софоний, Тигеллин, Петроний или Ватиний. Что касается цезаря, он, может быть, никогда и не слышал о лигийском народе и если потребовал выдачи Лигии как заложницы, так это потому, что его кто-нибудь подговорил; а кто это сделал – отгадать не трудно.

Она подняла на него свои глаза:

– Петроний?

– Да!

На минуту водворилось молчание; затем вождь продолжал:

– Вот что значит пускать на порог своего дома кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Будь проклят тот час, когда Виниций вошел к нам в дом: это он привел к нам Петрония. Горе Лигии! потому что им нужна не заложница, а наложница.

И речь его от гнева, бессильной ярости и горя по приемном ребенке стала еще более свистящей, чем обыкновенно. Некоторое время он сдерживал себя, и только сжатые кулаки доказывали, как тяжела ему эта внутренняя борьба.

– До сих пор я почитал богов, – продолжал он, – но в эту минуту я думаю, что нет их над миром, а есть один злой, безумный, чудовищный, имя которому Нерон.

– Авл! – сказала Помпония, – Нерон только горсть гнилого праха в сравнении с Богом.

Авл большими шагами стал ходить по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни бывали великие деяния, но великих несчастий не было, и он не привык к ним. Старый воин привязался к Лигии сильнее, чем он сам предполагал, и теперь он не мог помириться с мыслью, что он потерял ее. Кроме того, он сознавал себя покоренным: над собой он чувствовал руку, которую он презирал, но в то же время сознавал, что в сравнении с силой этой руки – он ничто.

Но когда он, наконец, подавил в себе гнев, который мешал ему размышлять, он сказал:

– Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для цезаря, потому что не захотел бы вооружить против себя Поппею; следовательно, или для себя, или для Виниция... Еще сегодня раз узнаю все это!

Через минуту он в носилках был уже на дороге к Палатинскому холму, а Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который не переставал плакать и грозить цезарю.

V

Авл был прав, когда он говорил, что он не будет допущен к Нерону. Ему отвечали, что цезарь занят пением с Терпносом и что он вообще не принимает тех, кого он не вызывал. Другими словами, это значило, чтобы Авл и впредь не пытался видаться с ним; зато Сенека, хотя и больной, принял старого вождя с должным почетом, но, когда он выслушал, в чем дело, горько усмехнулся и сказал:

– Я могу оказать тебе только одну услугу, благородный Плавций: никогда не показывать цезарю вида, что сердцем своим я сочувствую твоему горю и что мне хотелось бы помочь тебе, потому что, если бы у цезаря явилось хоть малейшее подозрение в этом смысле, так знай, что он не отдал бы тебе Лигию, если бы даже у него не было других причин для этого, кроме желания сделать мне назло.

Он не советовал ему идти к Тигеллину, к Ватинию и Вителию. Может быть, деньгами удалось бы добиться от них чего-нибудь назло Петронию, влияние которого они стараются уничтожить, но вернее, что они донесут цезарю, насколько Лигия дорога Плавциям, а тогда цезарь уж тем более не отдаст ее.

И старый мудрец заговорил с едкой иронией, направленной против самого себя.

– Ты, Плавций, молчал, молчал целыми годами, а цезарь не любит тех, кто молчит! Как это ты не восхищался его красотой, добродетелью, пением, его декламацией, умением управлять лошадьми, стихами... Как это ты не восхвалял смерть Британика, не говорил хвалебного слова матереубийце и не приносил поздравлений по случаю удушения Октавии? Недостает у тебя, Авл, прозорливости, которой мы, живущие счастливо при дворе, обладаем в достаточной степени!

Сказав это, он взял кубок, висевший у его пояса, зачерпнул им воды в имплювии, освежил запекшиеся губы и продолжал:

– Ах, у Нерона благодарное сердце. Он любит тебя за то, что ты служишь Риму и прославлял имя его во всех концах мира, и, может, меня за то, что я был его наставником. Поэтому-то, видишь ли, я знаю, что вода эта не отравлена, и пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но если тебе хочется пить, то пей смело эту воду. Она доставляется сюда через водопроводы с Албанских гор, и если бы захотели ее отравить, то пришлось бы отравить все фонтаны в Риме. Как видишь, можно еще чувствовать себя в безопасности на этом месте и иметь спокойную старость. Правда, я болен, но скорее это больна душа, а не тело!

Это была правда. Сенеке не хватало той душевной силы, которою обладали, например, Корнут или Тразей, потому что вся жизнь его была рядом уступок в пользу всевозможных злодеяний. Он сам это чувствовал, сам понимал, что последователь учения Зенона Цитийского должен был бы идти по иному пути, и страдал из-за этого больше, чем из страха перед смертью. Но вождь прервал его размышления и угрызения совести.

– Благородный Энней, – сказал Авл, – я знаю, как цезарь оплатил тебе за те заботы, которыми ты окружал его в его детские годы. Но виновник похищения нашего ребенка – Петроний. Укажи мне средство против него, укажи, чьему влиянию он поддается, и сам, наконец, поговори с ним, как тебе подскажет наша старая дружба.

– Петроний и я, – отвечал Сенека, – мы люди противных лагерей. Средств против него я не знаю, влиянию ничьему он не поддается. Быть может, несмотря на свою испорченность, он все-таки лучше всех негодяев, которыми теперь окружает себя Нерон. Но доказывать Петронию, что он поступил нехорошо – это значит только время терять; он давно потерял понятие о разнице между добром и злом. Докажи ему, что его поступок не изыщен, тогда он устыдится. Когда я с ним увижусь, я скажу ему: твой поступок достоин вольноотпущенника. Если это не поможет, то уж ничего не поможет.

– Благодарю и за это, – отвечал вождь.

Выйдя от Сенеки, Авл приказал нести себя к Виницию, которого застал упражняющимся в фехтовании с домашним ланистом. При виде молодого человека, спокойно упражняющегося в то время, когда Лигию схватили, Авл пришел в страшный гнев, и как только занавес опустился за ланистом, он разразился целым потоком упреков и обвинений. Но Виниций, узнав, что Лигия похищена, так страшно побледнел, что даже Авл ни на минуту не мог заподозрить его участия в этом деле. Лоб юноши покрылся каплями пота: кровь, которая на мгновение отхлынула от сердца, горячей волной залила его лицо, глаза его метали искры, губы шептали бессвязные вопросы. Ревность и ярость охватывали его попеременно. Ему казалось, что раз Лигия переступит порог дома цезаря, она навсегда будет для него потеряна, но когда Авл выговаривал имя Петрония, как молния мелькнуло в голове молодого воина подозрение, что Петроний надсмехался над ним и что он этим подарком цезарю хочет снискать для себя новые милости или же хочет оставить Лигию для самого себя. Он не мог допустить того, чтобы кто-нибудь, увидав Лигию, не вспылал к ней страстью.

Неистовство, наследственное в его роде, охватило его, и он метался как расвирепевший конь, не владея собой.

– Вождь, – сказал он прерывающимся голосом, – возвращайся к себе и жди меня... знай, что если б Петроний был мой отец, я бы отомстил ему за оскорбление Лигии. Возвращайся к себе и жди меня. Ни Петронию, ни цезарю она не достанется.

И, повернувшись с сжатыми кулаками к восковым фигурам, стоявшим в атрии, он воскликнул:

– Клянусь этими смертными фигурами! Раньше убью ее и себя. – И, сорвавшись с места, он еще раз бросил Авлу: «жди меня!» и выбежал из атрия и полетел к Петронию, расталкивая встречных прохожих.

Авл возвратился домой с некоторой надеждой. Он решил, что если Петроний подговорил цезаря похитить Лигию для того, чтобы отдать ее Виницию, то Виниций возвратит ее в их дом. Наконец немалым притеснением для него была мысль, что если Лигия не будет спасена, то она будет отмщена, и смерть избавит ее от позора. Он верил, что Виниций выполнит все, что обещал. Он видел его ярость и запальчивость, присущую всему роду Виниция. Он сам, хотя любил Лигию как родной отец, предпочел бы убить ее, чем отдать цезарю, и если б не мысль о сыне, единственном представителе их рода, то он непременно так бы и поступил. Авл был воин, и только кое-что слышал о стойках, но характером он был похож на них, и по его понятиям, по его воззрениям смерть была легче и лучше позора.

Возвратившись домой, он успокоил Помпонию, передал ей свои надежды, и оба они стали ждать вестей от Виниция. Когда по временам в атрии раздавались шаги кого-то из рабов, они думали, что это Виниций возвращает им их дорогого ребенка, и в глубине души готовы были благословить обоих. Но время шло, а известий никаких не было.

Только вечером раздался стук молота в ворота.

Через минуту вошел раб и передал Авлу письмо. Хотя старый вождь и любил выказывать самообладание, но он взял его дрожащей рукой и стал читать так торопливо, как будто речь шла о всем доме его.

Лицо его вдруг померкло, как будто на него упала тень от пролетавшей тучи.

– Читай, – сказал он, обратившись к Помпонии.

Помпония взяла письмо и прочла следующее:

«Марк Виниций приветствует Авла Плавция. То, что случилось, случилось по воле цезаря, пред которой преклоните головы, как преклоняю ее и я и Петроний».

Наступило продолжительное молчание.

VI

Петроний был дома. Привратник не посмел задержать Виниция, который ворвался в атрий как буря; узнав, что хозяина надо искать в библиотеке, он с тою же стремительностью бросился туда и, застав Петрония пишущим, вырвал у него из рук тростник, сломал его, бросил на землю, впился пальцами в его плечо и, пригнувшись к его лицу, хриплым голосом спросил:

– Что ты с ней сделал? Где она?

Но вдруг произошло нечто странное. Этот тонкий, изнеженный Петроний схватил впившуюся в его плечо руку молодого атлета, потом другую и, сжимая их в одной своей руке, точно железными клещами, сказал:

– Я только по утрам бываю разбит, а по вечерам ко мне возвращается прежняя сила, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, вероятно, учил ткач, а приличиям – кузнец.

На его лице не было даже гнева, только в глазах сверкали огоньки отваги и силы; через минуту он выпустил руки Виниция, который стоял перед ним униженный, пристыженный, но яростный.

– У тебя стальная рука, – сказал он. – Но клянусь тебе всеми подземными богами, если ты обманул меня, я всажу тебе нож в горло, хотя бы даже в покоях цезаря.

– Поговорим спокойно, – отвечал Петроний. – Как видишь, сталь крепче железа; поэтому мне нечего тебя бояться, хотя из твоей одной руки можно было бы сделать две мои. Меня огорчает твоя грубость, и если бы человеческая неблагодарность могла меня еще изумлять, я бы изумился твоей неблагодарности.

– Где Лигия?

– В лупанарии, то есть в доме цезаря.

– Петроний!

– Успокойся и сядь! Я просил цезаря о двух вещах – и он мне обещал: во-первых, взять Лигию из дома Авла, а во-вторых, отдать ее тебе... Нет ли у тебя где-нибудь ножа в складках тоги? Может быть, ты меня заколешь. Но я тебе советую подождать денька два, потому что тебя посадили бы в темницу, а тем временем Лигия соскучится в твоём доме.

Наступило молчание. Виниций смотрел на Петрония какими-то удивленными глазами и потом сказал:

– Прости меня. Я люблю ее, и любовь мутит мой рассудок.

– Третьего дня я сказал цезарю: мой племянник Виниций так влюбился в одну тощую девушку, которая воспитывается у Авла, что дом его превратился от вздохов в паровую баню, ни ты – говорю я – цезарь, – ни я, которые понимают, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерций, но этот юноша всегда был глуп, а теперь окончательно оглупел.

– Петроний!

– Если ты не понимаешь, что я говорил это, чтобы защитить Лигию, то я готов уверять тебя, что я говорил правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстетик, как он, не может считать такую девушку красавицей, и Нерон, который до сих пор не решается смотреть иначе, как моими глазами, не найдет в ней красоты, а не найдя красоты, не возьмет ее для себя. Надо было оградить себя от этой обезьяны и взять ее на веревочку. Лигию оценит теперь не он, а Поппея, и она, конечно, постарается выпроводить ее из дворца как можно скорее. А потом я, как бы нехотя, говорил Меднобородому: «Возьми Лигию и отдай ее Виницию! Ты имеешь право это сделать, потому что она заложница, и если ты так сделаешь, то сделаешь неприятность Авлу». И он согласился. У него не было ни малейшей причины не соглашаться, тем более что я дал ему возможность сделать неприятность хорошим людям. Тебя сделают опекуном заложницы, отдадут в твои руки это лигийское сокровище, и ты, как союзник храбрых лигийцев и, кроме того, верный слуга цезаря, не только не израсходуешь это сокровище, но, наоборот, постара-

ешься о его преумножении. Цезарь для соблюдения приличий несколько дней сохранит ее у себя, а потом отошлет ее в твой дом, счастливец!

– Это правда? Ей ничего не грозит в доме цезаря?

– Если бы она должна была поселиться там навсегда, тогда Пoppея поговорила бы о ней с Локустой, но в течение нескольких дней ничего ей не грозит. Во дворце цезаря десять тысяч народа. Очень может быть, что Нерон даже не увидит ее, тем более что он мне поверил и у меня только что был центурион с донесением, что он доставил девушку во дворец и сдал ее в руки Актеи. Эта Актея – добрая душа, поэтому я и приказал поручить Лигию ей. Очевидно, Помпония Грецина того же мнения, потому что написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выговорил тебе место рядом с Лигией.

– Прости мне, Кай, мою вспыльчивость, – сказал Виниций. – Я думал, что ты велел ее привести для себя или для цезаря.

– Я могу простить тебе вспыльчивость, но мне гораздо труднее простить тебе твои грубые жесты, неприличные крики, напоминающие игроков в мору, я этого не люблю, Марк, – и ты впредь остерегайся. Знай, что поставщиком женщин состоит Тигеллин, и знай также, что если бы я хотел взять эту девушку для себя, так я прямо в глаза сказал бы: «Виниций, я отнимаю у тебя Лигию, и она останется у меня, пока не надоест мне». – Говоря это, он прямо смотрел на Виниция своими ореховыми глазами, нагло и холодно, а молодой человек смутился окончательно.

– Я виноват, – сказал он. – Ты добр и благороден, и я благодарю тебя от всей души. Позволь мне только сделать тебе еще один вопрос. Отчего ты не приказал отослать Лигию прямо ко мне?

– Оттого, что цезарь хочет соблюсти приличия. Об этом будет говорить весь Рим, а так как мы взяли Лигию как заложницу, так вот, пока будут говорить, она и останется в доме цезаря. Потом мы потихоньку отошлем ее тебе, и всему делу конец. Меднобородый труслив как собака. Он знает, что его власть не имеет границ, а все-таки он старается всякому своему поступку придать законный вид. Пришел ли ты в себя настолько, чтобы немножко пофилософствовать? Мне самому не раз приходило на ум: отчего злодей, хотя бы и могущественный, как цезарь, и уверенный в безнаказанности, всегда заботится о соблюдении видимости закона, справедливости и добродетелей? Зачем эти заботы? Я соглашаюсь, что убить брата, мать и жену – это поступки, достойные какого-нибудь азиатского царька, а не римского цезаря, но, если бы это случилось со мной, я не писал бы оправдательных писем в сенат... А Нерон пишет, Нерон старается оправдать свои поступки, потому что Нерон трус. А вот Тиверий не был трусом, несмотря на то, что тоже старался оправдать всякий свой поступок. Почему это так, что это за странное невольное преклонение злодейства перед добродетелью?! И знаешь, что мне кажется? Это все потому, что преступление некрасиво, а добродетель прекрасна. Ergo, истинный эстетик должен быть добродетельным человеком. Ergo, я добродетельный человек. Надо будет возлить немного вина в память Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут на что-нибудь пригодиться. Слушай, я продолжаю: я отнял Лигию у Авла, чтобы передать ее тебе, – хорошо. Но Лизипп сделал бы из вас чудную группу. Оба вы прекрасны, а потому мой поступок тоже прекрасен, а будучи прекрасным, он не может быть дурным. Посмотри, Марк, перед тобой сидит олицетворение добродетели – Петроний! Если бы Аристид был жив, он должен был бы прийти ко мне и предложить мне сто мин за краткое рассуждение о добродетели!

Но Виниций, как человек, которого действительность занимала больше рассуждений о добродетели, сказал:

– Завтра я увижу Лигию, а потом она будет в моем доме и я буду ее видеть ежедневно, постоянно и до самой смерти.

– У тебя будет Лигия, а на моей шее будет сидеть Авл. Он призовет на меня месть всех подземных богов. И если бы он, по крайней мере, взял бы прежде урок декламации, а то он будет браниться так, как бранил моих клиентов мой прежний привратник, которого я за это отослал в деревню, в *ergastulum*.

– Авл был у меня. Я обещал известить его насчет Лилии.

– Напиши ему, что воля «божественного» цезаря есть наивысший закон и что первый твой сын будет называться Авлом. Надо же старику иметь какое-нибудь утешение. Я готов попросить Меднобородого, чтобы он позвал Авла завтра на пир. Пусть бы он увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.

– Не делай этого, – сказал Виниций. – Мне их жаль, в особенности Помпонию.

И он сел писать письмо, которое отняло у старого вождя последнюю надежду.

VII

Перед Актеей, бывшей любовницей Нерона, некогда преклонялись знатнейшие сановники Рима. Но и в то время она не вмешивалась в дела государственные и если иногда и пользовалась своим влиянием на молодого правителя, то только для того, чтобы испросить для кого-нибудь помилования. Тихая, покорная, она заслужила благодарность многих, но никого не сделала своим врагом. Даже Октавия и та не могла ее ненавидеть. Завистливым она казалась слишком безвредной. Все знали, что она любит Нерона любовью грустной, печальной, но безнадёжной, что живет только воспоминанием о том времени, когда Нерон был не только моложе, не только любящим, но и лучшим. Все знали, что Актея не может оторваться от этих воспоминаний, что она отдалась им и сердцем и душой, но ничего уже не ждет, и так как действительно не было никакой надежды на то, что цезарь вернется к ней, то на нее смотрели как на совершенно безопасное существо, и поэтому все оставляли ее в покое. Поппея считала ее покорной слугой, настолько безвредной, что даже не заботилась об удалении ее из дворца.

Но так как цезарь любил ее когда-то и покинул ее без злобы и даже некоторым образом дружелюбно, то она пользовалась известным вниманием. Нерон, отпустив ее на волю, дал ей помещение во дворце и в нем отдельный кубикул и несколько человек прислуги. А так как Паллас и Нарцис, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за стол, но, как могущественные сановники, занимали почетные места, поэтому и Актею иногда приглашали к столу цезаря. Делали это, может быть, потому, что ее красивая внешность была истинным украшением пиршеств. Впрочем, цезарь в выборе общества давно перестал уже считаться с какими бы то ни было взглядами. К его столу садилась самая разнородная смесь людей всех званий и состояний. Между ними были и сенаторы, но главным образом были те, которые соглашались быть вместе с тем и шутами; были и патриции старые, и молодые, жаждавшие наслаждений, разврата и удовольствий; были и женщины с знатными именами, но не задумывающиеся одевать по вечерам рыжие парики и для развлечения искавшие приключений в темных улицах. Бывали и высокие сановники и жрецы, которые за полными чашами вина сами глумились над своими богами, а рядом с ними всякий сброд: певцы, комедианты, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали только о сестерциях, которые они получают за восхваление стихов цезаря, философы, морившие себя голодом и жадными глазами провожающие подаваемые яства, известные возницы, фокусники, шуты, из которых мода или глупость сделали однодневных знаменитостей, прощельги, среди которых было немало и таких, которые длинными волосами прикрывали свои уши, проколотые в знак рабства.

Более известные садились прямо к столу, – менее известные служили развлечением во время еды и ждали той минуты, когда прислуга позволить им броситься на остатки яств и напитков. Гостей этого рода доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителий, и нередко им приходилось доставать для них одежду, подходящую для покоев цезаря, который любил именно

такое общество, потому что чувствовал себя среди них гораздо свободнее. Пышность двора все прикрывала. Великие и малые, потомки знатных родов и уличная сволочь, великие артисты и последние подонки – все стремилось во дворец, чтобы насытить свои глаза видом роскоши, почти переходящей границы человеческого понимания, и приблизиться к источнику всевозможных благ, богатства и достояний, малейшая прихоть которого могла, правда, низвергнуть, но и превознести без меры.

В этот день и Лигия должна была принять участие в подобном пиршестве. Чувство страха, неуверенности и волнение, неудивительные после всего, что ей пришлось так внезапно пережить, боролись в ней с желанием выказать сопротивление. Она боялась цезаря, боялась людей, боялась дворца, шум которого отуманивал ее, боялась пиршеств, о бесстыдстве которых слышала от Авла, от Помпонии и их друзей. Хотя она была очень молода, но знала многое, потому что познание дурного в те времена рано доходило даже до детского ума. Она знала, что в этом дворце ей грозит гибель, от которой предостерегала ее в минуту разлуки Помпония. Но так как у нее была молодая, неиспорченная душа, и она верила в великое учение, привитое ей нареченной матерью, то она поклялась защищаться от позора и матери, и себе, и Тому Божественному Учителю, в Которого не только верила, но Которого полюбила всем своим полудетским сердцем за сладость учения, за горечь смерти и славу воскресения.

Она была тоже уверена, что теперь уже ни Авл, ни Помпония не будут отвечать за ее поступки, и потому она раздумывала, не лучше ли будет воспротивиться и не пойти на пир. С одной стороны, страх и беспокойство громко говорили в ее душе, с другой стороны – ее охватило желание отваги, смелости, ей захотелось мучений и смерти. Ведь сам Божественный Учитель повелел так. Ведь Он сам подал пример, ведь говорила же ей Помпония, что самые ревностные последователи всей душой жаждут такого испытания и молят о ниспослании его. И Лигией такое желание овладевало иногда, еще даже тогда, когда она была в доме Авла. Она представляла себе, что она мученица, что на руках и ногах у нее раны, что она бела как снег и прекрасна неземной красотой, что такие же белые ангелы уносят ее на небо, и эти видения доставляли ей радость. В этих мечтах было много детского, но было также и восхищение самой собой, за что Помпония осуждала ее. А теперь, когда сопротивление воле цезаря могло повлечь за собой какую-нибудь страшную кару и когда рисуемые в мечтах муки могли сделаться действительностью, к чудным видениям, к восхищению самой собой присоединилось нечто вроде любопытства, смешанного со страхом: как именно будут карать ее и какого рода муки придумают для нее. Так колебалась ее еще полудетская душа. Но Актея, узнав об этих колебаниях, с таким изумлением взглянула на нее, как будто девушка говорила все это в бреду. Оказать сопротивление воле цезаря? С первой же минуты навлечь на себя его гнев? Нужно быть ребенком, который сам не знает, что говорит, чтобы подумать об этом. Из собственных слов Лигии следует, что она не заложница, но девушка, забытая своим народом. Ее не защитит никакое международное право, а если бы оно и защитило ее, то цезарь достаточно могуществен, чтобы смять ее в минуту гнева. Цезарю угодно было взять ее, и с этой минуты он распоряжается ею. С этой минуты она в его власти, выше которой нет другой на свете.

– Да, – говорила она, – и я читала послания Павла из Тарса, и я знаю, что над землей есть Бог и есть Сын Божий, Который воскрес из мертвых, но на земле есть только цезарь. Помни об этом, Лигия. Я знаю тоже, что твое учение не позволяет тебе быть тем, чем была я, и когда вам, как стоикам, о которых мне говорил Эпиктет, надо сделать выбор между позором и смертью, разрешается выбрать только одну смерть. Но можешь ли ты решить, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве ты не слыхала о дочери Сеяна, которая по приказанию Тиберия, еще совсем маленькой девочкой, должна была перед смертью пройти через позор ради соблюдения закона, по которому запрещена была казнь девушек? Лигия, Лигия, не раздражай цезаря! Когда придет решительная минута, когда тебе надо будет выбрать между смертью и позором, поступи так,

как повелевает тебе твоя истина, но не ищи добровольной гибели и не раздражай понапрасну земного и притом жестокого бога.

Актея говорила горячо, с бесконечной жалостью; она была близорука и потому близко придвинула свое лицо к лицу Лигии, как бы желая узнать, какое впечатление производят ее слова.

Лигия доверчиво обняла ее за шею и сказала:

– Ты, Актея, добрая!

Актея, тронутая ее похвалой и доверием, прижала ее к сердцу и, высвободившись из объятий девушки, отвечала:

– Мое счастье минуло, и минули дни радости, но я не сделалась злою.

И она быстрыми шагами принялась ходить по комнате, продолжая говорить сама с собой, как бы с отчаянием:

– Нет! И он не был злым. Он сам тогда думал, что он добрый, и хотел быть добрым. Я это лучше всех знаю. А это все пришло позднее... когда он перестал любить... Это другие сделали его таким, какой он теперь... другие... и Поппея!

Глаза ее наполнились слезами. Лигия следила за ней своими голубыми глазами и, наконец, сказала:

– Ты жалеешь его, Актея?

– Жалею, – глухо отвечала гречанка.

И она вновь стала ходить по комнате с сжатыми как бы от боли руками и безнадежным выражением.

А Лигия робко спрашивала дальше:

– Ты его любишь, Актея?

– Люблю... Его никто, кроме меня, не любит... – прибавила она.

Наступило молчание, во время которого Актея старалась вернуть спокойствие, нарушенное воспоминаниями, и когда, наконец, лицо ее приняло обыкновенное выражение тихой грусти, она сказала:

– Поговорим о тебе, Лигия. Ты даже и не думай противиться воле цезаря. Это было бы безумием. Впрочем, успокойся. Я хорошо знаю этот дом и думаю, что со стороны цезаря тебе ничего не грозит. Если бы Нерон приказал схватить тебя для него самого, то тебя не привели бы на Палатинский холм. Тут властвует Поппея, а Нерон, с тех пор, как она родила ему дочь, еще больше находится под ее властью... Нет... Правда, Нерон приказал тебе быть на пиршестве, но до сих пор он еще не видал тебя, даже не спросил о тебе, значит, ты его не занимаешь. Может быть, он отобрал тебя у Авла и Помпонии только назло им... Петроний написал мне, чтобы я приглядела за тобой, и Помпония, как тебе известно, тоже написала мне, – они, вероятно, сговорились. Может быть, он сделал это по ее просьбе. Если это так, и если и он по просьбе Помпонии заботится о тебе, то ничего тебе не угрожает, и, кто знает, может быть, Нерон, по настоянию Петрония, возвратит тебя Авлу. Не знаю, любит ли Нерон Петрония, но знаю, что он редко решается не соглашаться с ним.

– Ах, Актея! – отвечала Лигия. – Петроний был у нас перед тем, что меня схватили, и мать была уверена, что Нерон потребовал моей выдачи по его уговорам.

– Это было бы плохо, – сказала Актея, но, подумав минуту, она продолжала: – Может быть, однако, и то, что Петроний проболтался перед Нероном во время какого-нибудь пира, что он видел у Авла заложницу лигийскую, а Нерон, который ревниво охраняет свою власть, потребовал тебя только потому, что заложники принадлежат цезарю. Кроме того, он не любит ни Авла, ни Помпонии... Нет, не думаю, чтобы Петроний, если бы хотел отобрать тебя у Авла, прибегнул бы к такому способу. Не знаю, лучше ли Петроний других, окружающих цезаря, но, во всяком случае, он на них не похож... Может быть, наконец, ты кроме него найдешь кого-

нибудь, кто согласился бы заступиться за тебя, разве ты у Авла не познакомилась ни с кем из приближенных цезаря?

– Я видела Веспасиана и Тита.

– Цезарь их не любит.

– И Сенеку...

– Достаточно, чтобы Сенека о чем-нибудь попросил, чтобы Нерон сделал противное.

Лигия покраснела.

– И Виниция...

– Я не знаю его.

– Это родственник Петрония, который недавно возвратился из Армении.

– Думаешь ли ты, что Нерон благоволит к нему?

– Виниция все любят.

– И он согласился бы заступиться за тебя?

– Да.

Актея участливо улыбнулась и сказала:

– Так ты, наверно, увидишь его за пиром. Быть на нем ты должна, во-первых, потому, что должна... Только такой ребенок, как ты, мог подумать иначе. Во-вторых, если хочешь возвратиться в дом Авла, ты будешь иметь возможность попросить Петрония и Виниция, чтобы они, с помощью своего влияния, выхлопотали бы тебе разрешение возвратиться.

Если бы они присутствовали здесь, они оба подтвердили бы тебе, что попытка ослушаться была бы безумием и погубила бы тебя. Цезарь мог бы, положим, не заметить твоего отсутствия, – но, если бы он заметил и подумал, что ты дерзнула воспротивиться его воле, ничто уже не спасло бы тебя. Пойдем, Лигия... Слышишь, каким шумом наполнился двор? Солнце заходит, и вскоре начнут собираться гости.

– Ты права, Актея, – ответила Лигия, – я последую твоему совету.

Лигия, по всей вероятности, сама не могла бы дать себе отчета, насколько повлияло на это решение желание увидеть Виниция и Петрония и, с другой стороны, любопытство – хоть раз в жизни побывать на таком пиру, посмотреть на цезаря, двор, прославленную Поппею и других красавиц, и вообще на всю неслыханную роскошь, о которой в Риме рассказывали чудеса. Несомненно, однако, что Актея права, – молодая девушка сознавала это. Идти на пир она должна; необходимость и здравый смысл присоединились к тайному искушению, и Лигия перестала колебаться.

Актея повела ее в собственный онктуарий, чтобы умастить благовониями и одеть; хотя в доме цезаря не было недостатка в рабынях и Актея располагала значительным числом прислужниц, однако, из сочувствия к девушке, невинность и красота которой тронули ее, она решила сама нарядить Лигию. При этом сейчас же обнаружилось, что в молодой гречанке, несмотря на ее горе и увлечение посланиями Павла Тарсийского, в немалой степени сохранилась древняя эллинская душа, обожающая телесную красоту больше всего в мире. Обнажив Лигию, она не могла удержаться, чтобы не воскликнуть от восхищения при виде форм ее тела, хрупких и вместе с тем закругленных, созданных точно из роз и перламутра. Отступив на несколько шагов, она смотрела с восторгом на эту бесподобную внешнюю красу.

– Лигия! – воскликнула она наконец. – Ты во сто крат прекраснее Поппеи!

Воспитанная в строгом доме Помпонии, где стыдливость соблюдалась даже в то время, когда женщины оставались наедине, девушка стояла – прелестная, как волшебный сон, исполненная гармонии, как творение Праксителя или гимн, – но смущенная, порозовевшая от стыда, сдвинув колени, закрывая руками грудь и опустив ресницы. Подняв наконец быстрым движением свои руки, она выдернула шпильки, поддерживавшие волосы, – и в один миг, слегка встряхнув головою, покрылась ими как плащом.

Актея приблизилась и сказала, прикасаясь к ее темным прядям:

– Какие у тебя чудесные волосы!.. Я не осыплю их золотой пудрой, они сами отливают золотистым блеском на изломах кос... Быть может, лишь кое-где я коснусь их позолотой, – чуть-чуть, едва заметно, точно по ним скользнул светлый луч... Как прекрасен, должно быть, ваш лигийский край, где рождаются такие девушки!

– Я не помню его, – ответила Лигия, – только Урс рассказывал мне, что у нас все леса, леса и леса.

– А в лесах распускаются цветы, – сказала Актея, погружая руки в вазу, наполненную вервеной, и смачивая ими волосы Лигии.

Затем она принялась, чуть нажимая ладонями, натирать тело аравийскими благовонными елями; покончив с этим делом, Актея облекла Лигию в мягкую золотистой окраски тунику без рукавов, на которую оставалось надеть белоснежный пеплум. Но, так как раньше следовало причесать волосы, гречанка на время закутала ее в широкое одеяние, называвшееся синтезом, и, посадив на стул, сдала на руки рабыням, наблюдая со стороны за причесыванием. Вместе с тем две рабыни стали надевать на ноги Лигии белую вышитую пурпуром обувь, прикрепляя ее накрест золотыми тесемками. Когда прическа была готова, на молодую девушку накинули собранный в изящные легкие складки пеплум; Актея, застегнув на ее шею жемчужное ожерелье и прикоснувшись к узлам кос золотистой пудрой, приказала одевать себя, не переставая следить восхищенными взорами за Лигией.

Она собралась очень скоро, и, когда в главных воротах стали показываться первые носилки, Лигия и Актея вошли в боковой криптопортик, из которого видны были главный вход, внутренние галереи и двор, обнесенный колоннадой из нумидийского мрамора.

Постепенно все больше людей проходило под высоким сводом ворот, над которыми великолепная квадрига (колесница, запряженная четверкой лошадей) Лизия как будто мчала по воздуху Аполлона и Диану. Взоры Лигии были поражены зрелищем пышности, о которой скромный дом Авла не мог внушить ей никакого представления. Солнце приблизилось к закату; последние лучи его озаряли желтый нумидийский мрамор колонн, сиявший золотым блеском и вместе с тем отливавший розовым колоритом. Под колоннами, возле белых изваяний Данаид, богов и героев, проходили толпы мужчин и женщин, также похожих на статуи, задрапированных в тоги, пеплумы и стóлы, ниспадающими живописными, ласкающими глаз складками, на которых догорали отблески заходящего солнца. Гигантский Геркулес, с еще освещенною головой, погружившейся по грудь в тень, отбрасываемую колонной, взирал с высоты на эту сутолоку.

Актея указывала Лигии на сенаторов в широко окаймленных тогах, цветных туниках и с полумесяцами на обуви, – на патрициев и знаменитых артистов, на римских матрон, одетых в латинские, греческие или фантастические восточные уборы, с волосами, причесанными в виде башен, пирамид или, наподобие статуй богинь, низко у головы, и украшенными цветами. Многих мужчин и женщин Актея называла по именам, добавляя краткие и нередко ужасные характеристики, внушавшие Лигии страх, изумление и смущение. Перед нею раскрывался странный мир: красота пленяла взоры, но внутренних противоречий не мог понять ее юный рассудок. В этом багрянце заката, в этих рядах недвижных колонн, теряющихся вдаль, и в этих людях, подобных статуям, чувствовалось какое-то великое умиротворение; казалось, что среди простых очертаний этого мрамора должны обитать чуждые забот, невозмутимые и счастливые полубоги, – а между тем тихий голос Актеи разоблачал все новые и новые ужасные тайны – и этого дворца, и этих людей. Там, вдаль, виднеется криптопортик, на колоннах и плитах которого до сих пор заметны пятна крови, которою оросил белый мрамор Калигула, когда пал под ножом Кассия Херея; тут же умерщвлена его жена; в другом месте разбили о камни голову младенца; под тем флигелем таится подземелье, в котором от голоду грыз руки младший Друз; там отравили старшего Друза, а вон там корчился в страхе Гемелл, судорожно бился Клавдий, там – Германик; всюду эти стены оглашались стонами и хрипением умирающих, а эти

люди, спешащие теперь на пир в ярких туниках, цветах и драгоценностях, быть может, завтра же будут обречены на казнь; быть может, на многих лицах улыбка скрывает боязнь, тревогу и неуверенность в завтрашнем дне; быть может, сердца этих, на вид безмятежных, увенчанных полубогов охвачены в это время пламенем страстей, алчностью и завистью. Потрясенное сознание Лигии не успевало следить за словами Актеи, и хотя этот дивный мир все сильнее очаровывал ее взоры, сердце молодой девушки сжималось от ужаса, а душу ее охватило вдруг невыразимое, безграничное сожаление о любимой Помпонии Грецине и мирном доме Авла, в котором царит не преступление, а любовь.

Тем временем по Vicus Apollinis надвигались все новые толпы приглашенных. Из-за ворот доносился шум и восклицания клиентов, провожавших своих покровителей. Двор и колоннады испещрились множеством рабов цезаря, рабынь, мальчиков и преторианских солдат, охраняющих дворец. Кое-где, среди белых и смуглых лиц, чернелись лица нумидийцев в оперенных шлемах и с большими позолоченными кольцами в ушах. Пронесли лютни, цитры, груды искусственно выращенных, несмотря на позднюю осень, цветов, ручные серебряные, золотые и медные светильники. Становившийся все громче людской говор сливался с плеском фонтана, порозовевшие от лучей заката струи которого, падая с высоты на мрамор, разбивались на плитах, точно всхлипывая.

Актея перестала рассказывать, но Лигия все еще глядела, точно высматривая кого-то в толпе. На лице ее вдруг выступил румянец. Между колоннами появились Виниций и Петроний; они шли к большому триклинию, прекрасные, спокойные, похожие в своих тогах на белых богов. Молодой девушке, когда она увидела среди чужих людей эти два знакомых и дружеских лица, а в особенности, когда она взглянула на Виниция, показалось, что тяжелое бремя отлегло от ее сердца. Она почувствовала себя менее одинокой. Невыразимая тоска по семье Авла, охватившая за несколько мгновений перед тем ее душу, сделалась вдруг не столь невыносимой. Искушение повидаться с Виницием и поговорить с ним заглушило все ее сомнения. Напрасно напоминала она себе все зловещие толки, которые приходилось ей слышать о доме цезаря, – и слова Актеи и предостережения Помпонии, – несмотря на эти слова и предостережения, она почувствовала, что пойдет на пир не только по необходимости, но и по собственному влечению: при одной мысли, что через мгновение она вновь услышит дорогой и обаятельный голос, говоривший ей о любви и счастье, достойном богов, и до сих пор звучащий в ее ушах как музыка, сердце ее затрепетало от радости.

Однако она сейчас же испугалась этой радости. Ей показалось, что в эту минуту она изменяет и чистому учению, в котором ее вырастили, и Помпонии Грецине, и себе самой. Идти по принуждению и радоваться подобному насилию – далеко не одно и то же. Она почувствовала себя виноватой, согрешившей и погибшей. Ее охватило отчаяние, слезы подступали к ее глазам. Если бы она была одна, она опустилась бы на колена и стала бы ударять себя в грудь, повторяя: «мой грех! мой грех!» Но Актея, взяв ее за руку, повела через внутренние покои в большой триклиний, в котором должен был состояться пир; у Лигии потемнело в глазах, шумело от волнения в ушах, биение сердца теснило дыхание. Точно сквозь сон увидела она тысячи лампад, мерцающих на столах и на стенах, точно сквозь сон услышала возгласы, которыми встретили цезаря, и, как будто сквозь туман, увидела его. Крики оглушили ее, яркий свет ослепил, благовония опьянили, и, почти лишившись чувств, она едва различала Актею, которая, поместив ее за столом, сама заняла место рядом.

Спустя мгновение, с другой стороны окликнул ее знакомый голос:

– Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Каллина!

Лигия, несколько придя в себя, осмотрелась: возле нее возлежал Виниций.

Он был без тоги, так как удобство и обычай предписывали снимать тоги перед пиршеством. Тело его покрывало только пурпурная туника без рукавов, вышитая серебряными паль-

мами. Обнаженные руки были украшены, по восточному, двумя широкими золотыми запястьями, надетыми выше локтя, – ниже они были тщательно очищены от волос, гладкие, но слишком мускулистые, это были руки настоящего воина, созданные для меча и щита. Голова его была убрана венчиком из роз. Со своими сросшимися на переносице бровями, великолепными глазами и смуглым лицом он казался воплощением молодости и силы. Лигия была так поражена его красотой, что хотя первое замешательство ее уже прошло, однако едва смогла ответить:

– Привет тебе, Марк...

Он говорил ей:

– Счастливы глаза мои, которые видят тебя, счастливы уши, услышавшие твой голос, отраднейший для меня звуков флейт и цитры. Если бы меня заставили избрать, кто возле меня должен возлежать на этом пиршестве, – ты, Лигия, или Венера, я выбрал бы тебя, божественная дева!

Виниций стал смотреть на нее, как бы спеша насытить взоры красотой ее, обжигал ее своими очами! Взор его скользил с лица девушки на ее шею и обнаженные руки, ласкал прелестные очертания, любовался ею, обнимал ее, пожирал, но наряду с вождением в нем светились счастье, нежность и безграничное восхищение.

– Я знал, что встречу тебя в доме цезаря, – продолжал Виниций говорить ей, – тем не менее, когда я увидел тебя, всю душу мою потрясла такая радость, точно мне выпало совершенно неожиданное счастье.

Лигия, несколько успокоившись и чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он – единственное близкое ей существо, вступила в разговор с ним и принялась расспрашивать обо всем, что оставалось для нее непонятным и внушало ей страх. Откуда узнал он, что встретит ее в доме цезаря, – и зачем привели ее сюда? Зачем цезарь отобрал ее от Помпонии? Ей страшно здесь, она хочет вернуться домой. Она умерла бы с тоски и тревоги, если бы не надеялась, что Петроний и он будут ходатайствовать за нее перед цезарем.

Виниций объяснил, что о похищении ее узнал от самого Авла. Зачем ее препроводили сюда, ему неизвестно. Цезарь никому не дает отчета в своих распоряжениях и приказах. Однако пусть она не боится. Ведь он, Виниций, возле нее и останется вместе с нею. Он предпочел бы лишиться зрения, чем не видеть ее, предпочел бы жертвовать жизнью, чем покинуть ее. Она стала его душой, поэтому он будет беречь ее, как единственную душу. Он воздвигнет ей в своем доме алтарь, как своему божеству, и будет приносить в жертву мирру и алоэ, а весной – цвет яблони и ранние цветы... Если она боится жить в доме цезаря, он может поручиться ей, что она здесь не останется.

Хотя он говорил уклончиво, с недомолвками, и по временам прибегал ко лжи, в голове его звучала правдивость, так как чувство его к ней в самом деле было искренним. Он не мог преодолеть чистосердечного сожаления, слова ее западали ему в душу, когда Лигия стала благодарить и уверять, что Помпония полюбит его за доброту, а сама она на всю жизнь останется признательной ему, Виниций был глубоко тронут. Ему казалось, что он никогда не решится воспротивиться ее просьбе. Сердце его дрогнуло. Он с упованием любовался ее красотой и жаждал обладания ею, но вместе с тем чувствовал, что она ему чрезвычайно дорога и что он, действительно, мог бы обожать ее, как божество, кроме того, он испытывал непреодолимую потребность говорить об ее красоте и о своей любви к ней. Шум в зале пиршества становился громче, он придвинулся поэтому поближе к ней и начал нашептывать неясные, ласковые, льющиеся из глубины души слова, благозвучные, как музыка, и опьяняющие, как вино.

И они опьянили Лигию. Среди окружавших ее чуждых людей он казался ей все более близким, все более дорогим, заслуживающим полного доверия и преданным от всей души. Он успокоил ее, обещал освободить из дома цезаря, обещал, что не оставит ее и будет исполнять ее желания. Кроме того, раньше, в доме Авла, он говорил ей вообще о любви и счастье, кото-

рое она может дать, теперь же без околичностей признавался, что любит ее, что она ему милее и дороже всех. Лигия впервые слышала такие слова из мужских уст, и по мере того, как она вслушивалась в них, ей казалось, что в ней пробуждается что-то словно от сна, что все существо ее охвачено неведомым счастьем, в котором беспредельная радость сливается с беспредельною тревогой. Щеки ее разгорелись, сердце билось порывисто, уста раскрылись, точно от изумления. Ей было страшно, что она слушает такие признания, но ни за что в мире не согласилась бы она не дослушать хотя бы одного слова. Она то опускала глаза, то снова обращала к Виницию лучистый взор, боязливый и вместе с тем как бы вызывающий к нему: «говори еще!» Громкий говор, музыка, аромат цветов и благоухание аравийских курений снова стали опьянять ее. В Риме принято было возлежать за трапезой, но дома Лигия занимала место между Помпонией и маленьким Авлом, теперь же возле нее возлежал Виниций, молодой, могучий, влюбленный, распаленный желанием, она же, чувствуя, что от него пышет страстью, испытывала одновременно и стыд и наслаждение. Она погружалась в какую-то сладостную истому, замирала и изнемогала, точно впадая в дремоту.

Близость ее воздействовала и на Виниция. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, точно у арабского коня. По-видимому, и его сердце билось под пурпурную тунику с необычайной силой, он дышал часто и тяжело, голос его то и дело прерывался. И он впервые очутился так близко к ней. Мысли его стали путаться, в жилах бушевало пламя, которое он тщетно пытался залить вином. Но пока еще не вино, а ее прелестное лицо, обнаженные руки, девственная грудь, колеблющаяся под золотистой туникой, и все ее тело, покоящееся в белых складках пеплума, все сильнее опьяняли его. Наконец он обхватил ее руку повыше локтя, как сделал это уже не один раз в доме Авла, и привлекая ее к себе, стал шептать дрожащими устами:

– Я люблю тебя, Калина... моя божественная...

– Марк,пусти меня, – сказала Лигия.

Он же продолжал говорить, смотря на нее отуманенными страстью глазами:

– Божественная моя! Полюби меня...

Но в это мгновение послышался голос Актеи, возлежавшей по другую сторону Лигии:

– Цезарь глядит на вас.

Внезапный гнев и на цезаря и на Актею овладел Виницием. Слова ее рассеяли очарование.

Молодому воину в такую минуту даже голос друга показался бы докучливым, – Актея же, как он думал, умышленно старается прервать его разговор с Лигией.

Подняв голову и посмотрев на молодую вольноотпущенницу поверх рук Лигии, Виниций произнес с озлоблением:

– Миновало время, Актея, когда на пирах ты возлежала возле цезаря, – и говорят, что тебе угрожает слепота, – как же ты можешь видеть его?

Актея ответила ему с оттенком грусти:

– Я все-таки вижу... Он также близорук, – и глядит на вас в изумруд.

Все, что ни делал Нерон, внушало опасение даже лицам, наиболее приближенным к нему; Виниций встревожился, овладел собою – и принялся смотреть украдкой в сторону цезаря. Лигия, в начале пира видевшая его вследствие смущения точно сквозь дымку, вовсе не смотрела затем на цезаря, увлеченная присутствием и словами Виниция; теперь и она обратила к Нерону свои испуганные и вместе с тем любопытные глаза.

Актея сказала правду. Цезарь, склонившись над столом и зажмурив один глаз, держал перед другим глазом круглый полированный изумруд, которым пользовался обыкновенно, и смотрел на них. Взор его на мгновение встретился с глазами Лигии, и сердце молодой девушки содрогнулось от ужаса. Когда она, еще ребенок, жила в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей о драконах, обитающих в ущельях гор, – и вот теперь ей показалось, что на нее вдруг посмотрел зеленоватый глаз такого дракона. Она ухватилась

за руку Виниция, как испуганное дитя – а мысль ее едва успевала разобраться в бессвязных, быстро сменяющихся впечатлениях. Так вот каков он, этот страшный и всемогущий цезарь? Лигия никогда не видала его прежде, но представляла себе совсем иным. Воображение ее создавало ужасное лицо с окаменевшим в чертах выражением злобы; между тем она увидела перед собою большую, прикрепленную к толстой шее, голову, хотя и страшную, но почти смешную, похожую издали на голову ребенка. Туника аметистовой окраски, запрещенной простым смертным, отбрасывала синеватую тень на его широкое и короткое лицо. Темные волосы по моде, введенной Отоном, были завиты в четыре ряда буклей. Бороды он не носил, так как недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарность, хотя втихомолку злословили, что он пожертвовал бородой, потому что, как все в его роде, обрастал рыжими волосами. В его высоко выступающем над бровями лбе было, однако, что-то олимпийское. В наспуленных бровях отражалось сознание могущества; но под этим челом полубога приютилось лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, ничтожное, отражающее непрерывно сменяющиеся желания, заплывшее, несмотря на молодость, жиром, болезненное и обрюзгшее. Лигии лицо его показалось зловещим и главным образом отвратительным.

Нерон вскоре положил на стол изумруд и перестал смотреть на нее. Теперь молодая девушка увидела его глаза навывкат, жмурящиеся от слишком сильного освещения, стекляновидные, бессмысленные и похожие на глаза покойников. Цезарь, обратившись к Петронии, сказал:

– Эта та заложница, в которую влюбился Виниций?

– Да, это она, – ответил Петроний.

– Как называется ее народ?

– Лигийским.

– Виниций считает ее красавицей?

– Одень в женский пеплум источенный червями ствол оливы, Виниций сочтет и его прекрасным. Но на твоём лице, несравненный ценитель красоты, я прочел уже твоё мнение о ней! Тебе не нужно и оглашать своего приговора! Да, ты прав! она слишком тоща! сухопара! настоящая маковая головка на тонком стебле, а ты, божественный эстетик, ценишь в женщине ствол, и ты трижды, четырежды прав! одно лицо ничего не значит. Я уже многому научился около тебя, но столь верного глазомера ещё не достиг... и я готов побиться об заклад с Туллием Сенецием на его любовницу, что ты, – хотя на пире, где все возлежат, трудно судить обо всей фигуре, – уже сказал себе: «она слишком худа в бедрах».

– Слишком худа в бедрах, – произнес, смыкая глаза, Нерон.

По губам Петронии скользнула чуть заметная усмешка. Туллий Сенеций, занимавшийся до этой минуты разговором с Вестином или, говоря точнее, вышучиванием снов, в которые верил Вестин, обернулся к Петронии и, хотя не имел никакого представления, о чем идет речь, воскликнул:

– Ты ошибаешься! я держу пари за цезаря.

– Хорошо, – ответил Петроний. – Я как раз доказывал, что в тебе есть щепотка ума, а цезарь утверждает, что ты – осел без всякой примеси.

– Habet!²⁵ – сказал Нерон, смеясь и опуская вниз большой палец руки, как делалось в цирке в знак того, что гладиатору нанесен удар и что его следует добить.

Вестин, думая, что разговор все еще касается снов, воскликнул:

– А я верю в сны, и Сенека также говорил мне когда-то, что верит в них.

– Прошлой ночью мне приснилось, что я сделалась весталкой, – сказала, перегнувшись через стол, Кальвия Криспинилла.

²⁵ Получил по заслугам!

После этого заявления Нерон стал хлопать в ладоши; все последовали его примеру, и несколько мгновений вокруг раздавался шум рукоплесканий: Криспинилла, несколько раз разводившаяся с мужьями, прославилась баснословным распутством на весь Рим.

Но она, нисколько не смутившись, добавила:

– Что ж тут особенного! Все они стары и некрасивы. Одна Рубрия похожа на человека, а так нас было бы две, хотя летом у Рубрии выступают веснушки.

– Позволь, однако, заметить тебе, высокочтимая Кальвия, – сказал Петроний, – что весталкой могла ты сделаться разве только во сне.

– А если бы предписал цезарь?

– Я поверил бы, что исполняются сны, даже самые неправдоподобные.

– Конечно, исполняются, – сказал Вестин. – Я понимаю людей, не верящих в богов, но как можно не верить в сны?

– А гадания? – спросил Нерон. – Мне предвещали некогда, что Рим перестанет существовать, а я буду царствовать над всем Востоком.

– Гадания и сны находятся в тесной связи между собой, – ответил Вестин. – Раз один проконсул, завзятый отрицатель, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, которое не позволил вскрыть, – чтобы поверить, сумеет ли божок ответить на вопрос, изложенный в письме. Раб провел ночь в храме, чтобы получить во сне откровение: вернувшись из поездки, он сообщил: мне приснился юноша, светлый, как солнце, и сказал всего одно слово: «черного». Проконсул, услышав это, побледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, произнес:

«Знаете ли, что было сказано в письме?»

Вестин прервал рассказ и, подняв чашу с вином, стал пить.

– Что же было в этом письме? – спросил Сенеций.

– В письме заключался вопрос: «какого быка должен я принести в жертву: белого или черного?»

Внимание, возбужденное рассказом, отвлек Вителлий, явившийся на пир уже под хмельком; он внезапно разразился, без всякого повода, бессмысленным смехом.

– Над чем смеется эта бочка сала? – спросил Нерон.

– Смех отличает людей от животных, – сказал Петроний, – у него же нет иного доказательства, что он не боров.

Вителлий так же внезапно перестал смеяться и, чмокая лоснящимися от соусов и жирных кушаний губами, стал осматривать присутствующих с таким изумлением, точно никогда до этого не видел их.

Подняв, наконец, похожую на подушку руку, он произнес сиплым голосом:

– Я уронил с пальца всаднический перстень, доставшийся мне по смерти отца.

– Который был сапожником, – добавил Нерон.

Вителлий снова разразился беспричинным смехом и принялся искать перстень в пеплуме Кальвии Криспиниллы.

Видя это, Вестин стал подражать крикам испуганной женщины, а Нигидия, приятельница Кальвии, молодая вдова с лицом ребенка и глазами распутницы, заявила во всеуслышание:

– Он ищет, чего не потерял.

– И что ему ни на что не пригодится, хотя бы он и нашел, – добавил поэт Лукан.

Пир становился веселее. Толпы рабов подавали все новые блюда; из больших ваз, наполненных снегом и обвитых плющом, то и дело вынимали меньшие кратеры с многочисленными сортами вина. Все пили усердно. С потолка на стол и сотрапезников падали розы.

Петроний стал просить Нерона, чтобы он, пока гости не перепились, облагородил пир своим пением. Хор голосов присоединился к его просьбам, но Нерон стал отказываться. Вопрос касается не смелости, хотя ему всегда недостает ее... Боги знают, чего стоит ему каждое

появление пред публикой... Он, однако, не уклоняется от этого, потому что надо же сделать что-нибудь для искусства, – и притом же, если Аполлон одарил его некоторым голосом, дары богов не подобает оставлять втуне. Он понимает даже, что это – его обязанность по отношению к государству. Но сегодня он, в самом деле, охрип. Ночью он наложил себе на грудь оловянные слитки, но и это средство не помогло... Он собирается даже поехать в Анций, чтобы подышать морским воздухом.

Тогда Лукан воззвал к нему во имя искусства и человечности. Все знают, что божественный поэт и певец сложил гимн в честь Венеры, в сравнении с которым сочинение Лукреция напоминает вой годовалого волчонка. Пусть же этот пир будет истинным пиром. Властитель, столь добрый, не должен подвергать своих подданных таким мукам: «не будь бесчеловечным, цезарь!»

– Не будь бесчеловечным! – повторили все сидевшие поблизости.

Нерон развел руками, в знак того, что он вынужден уступить. Все лица немедленно облеклись в выражение благодарности, все глаза обратились к цезарю. Он приказал предупредить Пoppею, что будет петь, и сообщил присутствующим, что она не пришла на пир, чувствуя себя нездоровой, – но так как ни одно лекарство не доставляет ей такого облегчения, как его пение, то ему было бы жаль лишить ее удобного случая.

Пoppея явилась немедленно. Она все еще властвовала над цезарем, как над подданным, но не забывала, однако, что, когда тронута самолюбие Нерона как певца, наездника или поэта, раздражать его слишком опасно. Прекрасная, как богиня, она вошла одетая, подобно цезарю, в аметистовой окраски одеяние, с ожерельем из огромных жемчужин, похищенных некогда у Массинисы; златокудрая, улыбающаяся, и хотя разведенная уже с двумя мужьями, она сохранила лицо и выражение глаз девушки.

Ее встретили приветственными возгласами, именую «божественной августой». Лигия никогда в жизни не видела столь дивной красоты; ей не хотелось верить своим глазам, так как она знала, что Пoppея Сабина – одна из порочнейших женщин в мире. Она слышала от Помпонии, что Пoppея подучила цезаря убить мать и жену, узнала, на что она способна, из рассказов гостей и слуг в доме Авла. Она слышала, что по ночам в городе опрокидывали статуи Пoppеи, слышала о надписях, за которые виновных подвергали самым жестоким наказаниям и которые, тем не менее, появлялись каждое утро на стенах городских зданий. Несмотря на это, при виде прославленной Пoppеи, считаемой последователями Христа воплощением зла и преступления, молодой девушке казалось, что столь прекрасными могут быть лишь ангелы или небесные духи. Лигия не могла оторвать от нее взоров; с уст девушки невольно сорвался вопрос:

– Ах, Марк, возможно ли это?..

Он же, возбужденный вином и, по-видимому, раздосадованный, что внимание ее все отвлекают от него и его слов, ответил:

– Да, она прекрасна, но ты во сто крат прекраснее. Ты не умеешь ценить себя, – не то влюбилась бы в себя, как Нарцисс... Она купается в молоке ослиц, а тебя, должно быть, Венера купала в своем собственном. Ты не знаешь себе цены, *ocelle mi*...²⁶ Не смотри на нее. Обрати свои очи ко мне, моя радость!.. Прикоснись устами к этой чаше вина, а затем я прильну к этому самому месту моими устами...

Виниций придвигался все ближе, а Лигия стала отодвигаться к Актее. В эту минуту потребовали тишины, так как цезарь встал. Певец Диодор подал ему лютню, называемую «дельтою», другой же музыкант, Терпнос, который должен был аккомпанировать, приблизился с инструментом, называвшимся «наблием». Нерон, опершись дельтой о стол, вознес глаза, – и

²⁶ Радость моя.

чрез мгновение в триклинии водворилось безмолвие, нарушаемое лишь шорохом все продолжающих падать с потолка роз.

Цезарь запел, или, вернее, стал декламировать нараспев и ритмически, под аккомпанемент двух лютней, свой гимн Венере. Ни голос его, хотя несколько глухой, ни стихи – не оказались плохими, так что Лигия снова почувствовала угрызения совести: гимн, хотя и прославляющий нечистую, языческую Венеру, слишком понравился ей, да и сам цезарь, с лавровым венком на голове и вознесенными к небу глазами, показался ей более величественным, далеко не столь страшным и отталкивающим, как в начале пира.

Пирующие разразились громом рукоплесканий. Вокруг раздавались восклицания: «О, дивный, небесный голос!» Некоторые из женщин, всплеснув руками, застыли в этой позе, в знак своего восторга, даже по окончании пения; другие осушали заплаканные глаза: весь зал зашумел, точно улей. Поппея, склонив златокудрую голову, поднесла к губам руку Нерона и долго не выпускала ее, не произнося ни слова, а молодой Пифагор, грек необычайной красоты, – тот самый, с которым позднее почти обезумевший Нерон приказал жрецам обвенчать себя с соблюдением всех установленных обрядов, – опустился на колени у ног его.

Но Нерон внимательно смотрел на Петрония, похвалы которого больше всего льстили ему; Петроний произнес:

– Что касается музыки, то Орфей, должно быть, теперь так же пожелтел от зависти, как сидящий здесь Лукан; относительно же стихов, я сожалею, что они не хуже, потому что тогда я, быть может, нашел бы для их восхваления подобающие слова.

Лукан же не обиделся на него за упоминание о зависти, – напротив, бросив на него притворный взгляд, он притворился раздосадованным и проворчал:

– Да будет проклята судьба, обрекая меня жить одновременно с таким поэтом. Человеку удалось бы занять место и в памяти людской и на Парнасе, а теперь приходится угаснуть, как меркнет ночник при сиянии солнца.

Петроний, обладавший поразительной памятью, стал повторять выдержки из гимна, цитировать отдельные стихи, отмечать и разбирать удачнейшие выражения. Лукан, как бы отрешившись от зависти под обаянием поэзии, присоединил к его словам свои восторженные похвалы. На лице Нерона отразились упоение и беспредельное тщеславие, не только граничащее с глупостью, но совершенно тождественное с нею. Он сам подсказывал им стихи, которые считал прекраснейшими, и, наконец, принялся утешать Лукана, уговаривать, чтобы он не падал духом, так как никто не может приобрести дарований, которых не дано ему от рождения, – однако поклонение, воздаваемое людьми Юпитеру, не исключает почитания остальных богов.

Затем он встал проводить Поппею, которая, будучи в самом деле нездоровой, пожелала удалиться. Нерон приказал гостям не покидать своих мест и обещал вернуться. И действительно, он вскоре возвратился – одурять себя фимиамом курений и смотреть на дальнейшие зрелища, подготовленные им самим, Петронием или Тигеллином для пира.

Присутствующее снова стали слушать стихи или чтение диалогов, в которых вычурность заменяла остроумие. Затем знаменитый мим, Парис, изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, в особенности Лигии, не привыкшей к таким зрелищам, казалось, что они видят чудеса и волшебство. Парис движениями рук и тела умел выражать то, что, по-видимому, выразить в пляске невозможно. Руки его всколебали воздух, создавая светлое, живое облако, трепещущее любовстрастием, обвивающее упоенный девственный образ, содрогающийся в сладостной истоме. Это была не пляска, а картина, – картина ясная, разоблачающая тайну любви, чарующая и бесстыдная; когда же, по окончании ее, появились корибанты и сирийские плясуньи, исполнившие под звуки цитр, флейт, кимвалов и бубен вакхический танец, сопровождаемый дикими криками и исполненный еще более необузданной распущенности, Лигия ужаснулась: ей казалось, что ее испепелит живой огонь, что громы небесные должны поразить этот дом или потолок обрушится на головы пирующих.

Между тем из золотой сетки, подвешенной к потолку, падали только розы, а опьяневший Виниций говорил ей:

– Я увидел тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Светало, и ты думала, что никто не смотрит, – а я видел... И до сих пор вижу тебя такой, хотя тебя скрывает от моих взоров этот пеплум. Скинь пеплум, как Криспинилла. Видишь, – и боги и люди жаждут любви! Кроме нее нет ничего на свете! Преклони голову к моей груди и закрой глаза.

А у нее кровь, громко стуча, прилиwała к вискам и рукам. Ею овладел страх, точно она падает в какую-то бездну, а этот Виниций, так недавно казавшийся ей столь близким и преданным, вместо того, чтобы спасти, сам влечет ее в пропасть. Ей стало досадно на него. Она снова почувствовала, что боится и этого пира, и Виниция, и себя самой. Чей-то голос, похожий на голос Помпонии, вызвал еще в ее душе: «Лигия, спасайся!» Но что-то говорило ей вместе с тем, что уже слишком поздно, что тот, кого обвеяло таким пылом, кто видел все, что происходило на этом пиршестве, в ком сердце билось так, как в ней, когда она внимала словам Виниция, – и кого охватывала такая дрожь, которую она испытывала, когда он приближался к ней, тот погиб безвозвратно. Она чувствовала, что ей становится дурно. Иногда ей казалось, что она лишится чувств и что потом произойдет что-то ужасное. Она знала, что, под страхом прогневить цезаря, никому не дозволяется встать, пока не встанет сам Нерон, – однако, если бы этого запрещения и не существовало, она уже не имела бы сил удалиться.

А до окончания пира было еще далеко. Рабы приносили все новые яства и беспрестанно наполняли чаши вином; перед столом появились, чтобы представить гостям зрелище борьбы, два атлета.

Состязание началось. Могучие, лоснящиеся от масла тела борцов слились в одну живую глыбу, кости хрустели в железных руках, стиснутые челюсти издавали зловеющий скрежет. Иногда раздавались быстрые глухие удары ног о посыпанный шафраном пол; то вновь атлеты становились недвижно, стихали, и зрителям казалось, что перед ними – группа, изваянная из камня. Глаза римлян с увлечением следили за движениями страшно напряженных спин, икр и рук. Борьба окончилась, однако, довольно скоро, так как Кротон, учитель и начальник школы гладиаторов, заслуженно прослыл первым силачом по всей империи. Противник его стал дышать все чаще, затем дыхание его сперлось, лицо посинело, и наконец изо рта хлынула кровь, и он опустился.

Взрыв рукоплесканий ознаменовал конец состязания; Кротон, наступив ногой на плечо противника, скрестил огромные руки на груди и обвел зал глазами триумфатора.

После атлетов выступили подражатели зверям и их крикам, фокусники и шуты, но на них почти не обращали внимания, потому что вино уже затмило глаза зрителям. Пир постепенно превращался в пьяную и распутную оргию. Сирийские девушки, участвовавшие раньше в вакхической пляске, смешались с гостями. Музыка сменилась нестройным, диким шумом цитр, лютней, армянских кимвалов, египетских сistr, труб и рогов; некоторые из пирующих, желая разговаривать, стали кричать музыкантам, чтобы они ушли. Воздух триклиния, насыщенный ароматом цветов, благоуханием масел, которыми прелестные мальчики во время пира кропили ноги сотрапезникам, запахом шафрана и людскими выделениями, становился душным, светильники горели тусклым пламенем, венки на головах съехали в сторону, лица побледнели и покрылись каплями пота.

Вителий свалился под стол. Нигидия, обнажив себя до половины туловища, опустила пьяную детскую головку на грудь Лукана, который, столь же опьянев, принялся сдвигать золотую пудру с ее волос и с невыразимым наслаждением следить за взлетающими пылинками. Вестин с упорством пьяницы повторял в десятый раз ответ Мопса на запечатанное письмо проконсула. Туллий, осмеивавший богов, говорил прерываемым икотой вялым голосом:

– Если Сферот Ксенофана кругл, тогда, заметь, такого бога можно катить перед собой ногой, как бочку.

Но Домиций Афер, старый злодей и доносчик, возмутился этим разговором; от возмущения он даже залил себе фалернским вином всю тунику. Он всегда верил в богов. Люди говорят, что Рим погибнет, – есть даже такие, которые утверждают, что он уже гибнет. И неудивительно!.. Но если это случится, так лишь оттого, что молодежь утратила веру, а без веры не может быть добродетели. Кроме того, пренебрегают былыми суровыми нравами, и никому не приходит в голову, что эпикурейцы не дадут отпора варварам. Что касается его, то он сожалеет, что дожил до таких времен и что принужден в развлечениях искать спасения от огорчений, которые иначе живо доконали бы его.

Сказав это, он притянул к себе сирийскую танцовщицу и стал беззубыми губами целовать ее затылок и плечи; видя это, консул Меммий Регул рассмеялся и, подняв свою плешь, убрannую съехавшим набок венком, произнес:

– Кто говорит, что Рим гибнет?.. Глупости!.. Я, консул, знаю лучше всех... Videant consules!..²⁷ Тридцать легионов охраняют спокойствие римской империи!..

Подперев виски кулаками, он стал кричать на весь зал:

– Тридцать легионов! Тридцать легионов!.. От Британии до парфянских границ!

Но вдруг он задумался и, положив палец ко лбу, сказал:

– А пожалуй, наберется их и тридцать два...

И опустил под стол, где тотчас же стал извергать языки фламинго, печеные рыжики, мороженные грибы, саранчу на меду, рыбу, мясо и все, что съел или выпил.

Домиция не успокоила, однако, численность легионов, охраняющих безопасность Рима: «Нет, нет! Рим должен погибнуть, потому что не стало веры в богов, не стало прежних суровых нравов! Рим должен погибнуть – а жаль! Жизнь все-таки хороша, цезарь милостив, вино прекрасно! Ах, как жаль!»

Опустив голову к лопаткам сирийской вакханки, он заплакал: «Что мне в какой-то будущей жизни!.. Ахилл был прав, говоря, что лучше быть батраком в мире, озаряемом солнцем, чем царствовать в киммерийских пределах. Да и то еще вопрос, существуют ли какие-нибудь боги, хотя безверие губит молодежь».

Лукан сдул тем временем всю золотую пудру с волос Нигидии, которая, окончательно опьянев, заснула. Затем он снял гирлянды плюща со стоявшей перед ним вазы и обвинил ими уснувшую. Сделав это, он стал смотреть на присутствующих радостным и вопрошающим взором.

Потом он украсил и себя плющом, повторяя непоколебимо убежденным тоном:

– Я вовсе не человек, а фавн.

Петроний не был пьян, Нерон же, пивший сначала, щадя свой «небесный» голос, умеренно, под конец опорожнив чашу за чашей и охмелел. Он вздумал даже петь другие свои стихи – на этот раз греческие, – но забыл их и по ошибке запел песенку Анакреона. Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но так как у всех дело не ладилось, отказались от этой затеи. Нерон вместо того стал восторгаться как знаток и эстетик красотой Пифагора и, в увлечении, целовать его руки. Такие же прекрасные руки он видал когда-то... у кого?

Приложив руку к мокрому лбу, он принялся припоминать. Минуту спустя на лице его отразился ужас:

– Ах, да! У матери, у Агриппины!

Им внезапно овладели мрачные видения.

– Говорят, – сказал он, – что она ходит ночью, при свете месяца, по морю, около Вейи и Баулы... И ничего, только ходит, ходит, – как будто ищет чего-то. Когда же приблизится к лодке, посмотрит и отойдет... но рыбак, на которого она посмотрела, умирает...

²⁷ Пусть следят консулы... (лат.) – начало формулы, объявлявшей о введении чрезвычайного положения и наделении консулов всеми полномочиями.

– Недурной сюжет, – заметил Петроний.

Вестин же, вытянув шею, как журавль, таинственно шептал:

– Я не верю в богов, не верю в привидения. Ой!..

Нерон, не обращая внимания на их слова, продолжал:

– А ведь я справил богослужения по душам усопших. Я не хочу видеть ее! С тех пор пошел уже пятый год. Я должен был, должен был казнить ее, потому что она подослала ко мне убийцу и, если бы я не опередил ее, вы не услышали бы сегодня моего пения.

– Благодарим тебя, цезарь, от имени Рима и всего света, – воскликнул Домиций Афер.

– Вина! И пусть зазвучат тимпаны!

Шум возобновился. Лукан, весь в плюще, желая перекричать его, встал и начал взывать:

– Я не человек, а фавн, – и живу в лесу! Эх-хоо!!!

Цезарь наконец напился до пьяна; перепились мужчины и женщины. Виниций опьянел не меньше, чем остальные пирующие: вдобавок, помимо страстного возбуждения, в нем пробуждалось задорное влечение к ссоре, что случалось с ним постоянно, когда он пил сверх меры. Его смуглое лицо побледнело еще больше, и язык стал заплетаться, когда он говорил, теперь уже приподнятым и повелительным голосом:

– Целуй меня! Сегодня, завтра, не все ли равно!.. Мне надоело ждать!.. Цезарь отобрал тебя от Авла, чтобы подарить мне, – понимаешь! Завтра, под вечер, я пришлю за тобой, – понимаешь!.. Цезарь обещал мне отдать тебя раньше, чем послал за тобой... Ты должна быть моей! Целуй меня! Я не хочу ждать до завтра, – прильни ко мне скорее твоими устами!

Он обнял Лигию, но Актея стала защищать ее, да и сама она оборонялась, напрягая остаток силы, так как чувствовала, что погибает. Тщетно, однако, силилась она обеими руками оторвать от себя его безволосые руки, напрасно умоляла голосом, дрожащим от огорчения и страха, чтобы он не был таким, как теперь, чтобы сжалился над нею. Насыщенное вином дыхание обвевало ее все ближе, а лицо его очутилось у самого лица ее. Это был уже не прежний, добрый, чуть не милый сердцу Виниций, а пьяный злой сатир, внушавший ей лишь глубокий ужас и отвращение.

Она ослабевала, однако, все больше. Напрасно отвращала она, перегнувшись, свое лицо, чтобы избежать его поцелуев. Он приподнялся, обхватил ее обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, стал, тяжело дыша, раздавливать губами ее побледневшие уста.

Но в то же мгновение какая-то могучая сила отстранила его плечи от ее шеи с такою легкостью, точно это были руки ребенка, самого же Виниция отбросила в сторону, как сухую ветку или увядший лист. Что такое произошло? Виниций протер изумленные глаза, и вдруг увидел над собой гигантскую фигуру лигийца Урса, которого он встречал в доме Авла.

Лигиец стоял спокойно, но смотрел голубыми глазами на Виниция так странно, что у молодого человека застыла кровь в жилах; затем Урс взял на руки свою царевну и ровною, тихую поступью вышел из триклиния.

Актея последовала за ним.

Виниций просидел одно мгновение, точно окаменев; потом он опрометью бросился к выходу, крича:

– Лигия! Лигия!

Но распаленная страсть, изумление, неистовый гнев и вино подкосили его ноги; пошатнувшись несколько раз, он ухватился за обнаженные руки одной из вакханок и стал спрашивать, моргая веками:

– Что такое случилось?

Вакханка, с усмешкой в отуманенных глазах, взяла чашу с вином, подала ему и сказала:

– Пей.

Виниций выпил и свалился с ног.

Большинство гостей лежало уже под столом; некоторые ходили колеблющимися шагами по триклинию, другие спали на пиршественных ложах, храня или извергая во сне излишек вина, – а на пьяных консулов и сенаторов, на пьяных римских всадников, поэтов, философов, на пьяных танцовщиц и патрицианок, на весь этот мир, еще всемогущий, но уже лишенный души, увенчанный и необузданный, но уже меркнувший, – из золотой сети, подвешенной к потолку, все падали и падали розы.

На дворе стало светать.

VIII

Урса никто не задержал, никто не спросил даже, что он делает. Гости, не лежавшие еще под столом, не соблюдали больше назначенных им мест, поэтому слуги, видя великана, несущего на руках одну из сотрапезниц, подумали, что это какой-то раб выносит свою опьяневшую госпожу. Притом же Актея шла с ними, и присутствие ее устраняло всякое подозрение.

Таким образом они вышли из триклиния в прилегающую к нему комнату, а оттуда – в галерею, ведущую в помещение Актеи.

Лигия так ослабела, что лежала точно мертвая на руке Урса. Когда на нее пахнуло холодным и свежим утренним воздухом, она открыла, однако, глаза. Становилось все светлее. Идя между колоннами, они вскоре свернули в боковой портик, выходящий не на двор, а в дворцовые сады, в которых верхушки сосен и кипарисов уже зарумянились от утренней зари. В этой части здания не было ни души, отголоски музыки и крики пирующих доносились к ним все глуше. Лигии казалось, что ее вырвали из ада и вынесли на ясный Божий свет. Есть, значит, нечто и вне этого отвратительного триклиния. Есть небо, заря, свет и тишина. Девушка разразилась вдруг рыданиями и, прижимаясь к руке великана, стала повторять сквозь слезы:

– Домой, Урс! Домой, к Авлу!

– Пойдем! – ответил Урс.

Они добрались до небольшого атрия, принадлежащего к покоям Актеи. Там Урс посадил Лигию на мраморную скамью, в стороне от фонтана, а Актея принялась успокаивать ее и уговаривать, чтобы она легла отдохнуть, уверяя, что пока ничто не угрожает ей, так как перепившиеся гости после пира проспят до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжавши руками виски, повторяла только, как ребенок:

– Домой, к Авлу!..

Урс был готов исполнить ее желание. Хотя у ворот стоят преторианцы, однако это не помешает ему пройти. Солдаты не задерживают выходящих. Перед сводом въезда носилки кишат точно муравейник. Люди станут выходить целыми толпами. Никто не задержит их. Они выйдут вместе с народом, – и пойдут прямо домой. Впрочем, ему нечего рассуждать! Как царевна прикажет, так и будет. Он затем и находится здесь, чтобы исполнять ее желания.

А Лигия повторяла:

– Да, да, Урс, уйдем.

Актея понимала, что надо образумить их. Конечно, они могут выйти! Никто не задержит их. Но из дома цезаря скрываться бегством запрещено, и кто делает это, виновен в оскорблении величества. Они уйдут, но к вечеру центурион во главе отряда солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грецине, а Лигию водворят обратно во дворец, – и тогда ничто уже не спасет ее. Если Авл и его жена примут ее в свой дом, смерть постигнет их неизбежно.

У Лигии опустились руки. Спасения нет. Она принуждена выбирать между гибелью Плавциев и своею. Идя на пир, она надеялась, что Виниций и Петроний выпросят ее у цезаря и отдадут Помпонии, теперь же она знает, что они-то именно и подговорили цезаря отобрать ее от Авла. Спасения нет. Только чудо может извлечь ее из этой пропасти – чудо и власть Господня.

– Актея, – сказала она с отчаянием, – слышала ли ты, как Виниций говорил, что цезарь подарил ему меня и что сегодня же вечером он придет за мной рабов и возьмет меня к себе в дом?

– Я слышала, – ответила Актея.

Она развела руками и замолчала. Отчаяние, звучавшее в словах Лигии, не находило в ней отголоска. Была же она сама любовницей Нерона. Сердце ее, несмотря на доброту, не было способно чувствовать всю постыдность такой связи. Бывшая невольница, она слишком свыклась с воззрениями рабства и, кроме того, до сих пор любила Нерона. Если бы он пожелал вернуться к ней, она простерла бы к нему руки, ухватилась бы за него, как за счастье. Вполне уяснив себе теперь, что Лигия должна либо стать любовницей молодого и красивого Виниция, либо погубить себя и воспитавшую ее семью, она просто не могла понять, как может девушка колебаться.

– В доме цезаря, – произнесла она, подумав, – ты будешь не в большей безопасности, чем в доме Виниция.

Ей и не пришло в голову, что, – хотя она говорила правду, – слова ее значили: «примиришься со своею участью и стань наложницей Виниция». Но Лигия чувствовала еще на своих устах его исполненные животного вождения и жгучие, как раскаленный уголь, поцелуи, и при одном напоминании о них краска стыда залила ее лицо.

– Никогда! – воскликнула она с негодованием. – Я не останусь ни здесь, ни у Виниция – никогда!

Актею удивило ее возбуждение.

– Разве Виниций, – спросила она, – так ненавистен тебе?

Лигия не могла ответить, так как снова разразилась рыданиями. Актея привлекла ее к груди и стала успокаивать. Урс дышал тяжело и сжимал огромные кулаки, – обожая с преданностью собаки свою царевну, он не мог вынести ее слез. В его лигийском полудиком сердце рождалось искушение – вернуться в триклиний и задушить Виниция, а если понадобится, и цезаря, – он боялся, однако, обратиться с этим предложением к своей госпоже, не будучи уверенным, приличествует ли такой поступок, показавшийся ему как нельзя более естественным, последователю распятого Агнца.

Актея, успокоив Лигию, повторила свой вопрос:

– Разве он так ненавистен тебе?

– Нет, – ответила Лигия, – я не должна ненавидеть его, потому что я христианка.

– Я знаю это, Лигия. Я узнала также из посланий Павла Тарсийского, что вам не дозволено ни опозорить себя, ни бояться смерти больше, чем греха, – но скажи мне, позволяет ли твоя вера причинять смерть?

– Нет.

– Так как же ты решаешься навлечь гнев цезаря на дом Авла?

Наступило молчание. Бездонная пропасть снова раскрылась перед Лигией.

Молодая вольноотпущенница добавила:

– Я спрашиваю об этом, потому что мне жаль тебя, – жаль и доброй Помпони, и Авла, и их сына. Я давно живу в этом доме и знаю, чем угрожает гнев цезаря. Нет, вы не должны бежать отсюда. Тебе остается одно: умолять Виниция, чтобы он возвратил тебя Помпони.

Но Лигия опустилась на колени, чтобы обратиться с мольбой к кому-то другому. Урс последовал ее примеру, они стали молиться – в доме цезаря – при свете ранней зари.

Актея в первый раз увидела такую молитву и не могла оторвать взоров от Лигии, которая, обращенная к ней профилем, с воздетыми головой и руками, смотрела на небо, точно ожидая оттуда спасения. Утренние лучи озарили ее темные волосы и белый пеплум, отразились в очах, и, вся в блеске, она, казалось, сама превратилась в сияние. В ее побледневшем лице, в разомкнутых устах, в обращенных к небу руках и глазах сквозил какой-то неземной

восторг. И Актея постигла в это мгновение, почему Лигия не может стать ничьей наложницей. Перед бывшею любовницей Нерона как бы распахнулась завеса, скрывающая мир, совершенно непохожий на тот, с которым она свылась. Ее поражала эта молитва – в этом доме злодеяний и разврата. За минуту перед тем она была уверена, что для Лигии нет спасения, – теперь же она стала верить, что может произойти нечто сверхъестественное: явится защита столь могущественная, что и сам цезарь окажется бессильным бороться против нее, низойдут с неба неведомые крылатые воинства спасать девушку, или же солнце подстелет под нее свои лучи и привлечет к себе. Она слышала раньше о многих чудесах, совершившихся среди христиан, и молитва Лигии невольно внушила ей мысль, что, очевидно, все это – правда.

Лигия поднялась с лицом, озаренным надеждой. Урс также встал и, присев возле скамьи, глядел на свою госпожу, ожидая, что она скажет.

Глаза ее затуманились, и две крупных слезы медленно покатились по ее щекам.

– Да благословит Бог Помпонию и Авла, – сказала она. – Я не должна подвергать их опасности, следовательно, никогда больше не увижу их.

Потом, обратившись к Урсу, она стала говорить ему, что он один остается теперь у нее на свете и должен отныне заменить ей отца и опекуна. Они не могут искать приюта у Авла, так как обрекли бы его на гнев цезаря. Она не должна, однако, остаться ни в доме цезаря, ни у Виниция. Пусть же Урс возьмет ее, пусть уведет из Рима и скроет где-нибудь, где ее не найдет ни Виниций, ни его слуги. Она всюду последует за ним, хотя бы за моря, хотя бы за горы, к варварам, где не слышали римского имени, куда не проникла еще власть цезаря. Пусть он берет ее и спасает, так как, кроме него, у нее не осталось никого.

Лигиец, в знак готовности и послушания, склонился и обнял ее ноги. На лице Актеи, ожидавшей чуда, отразилось разочарование. Неужели ничего больше не вышло из этой молитвы? Побег из дома цезаря будет сочтен за оскорбление величества, а подобное преступление не может быть оставлено без отпущения. Если молодой девушке даже удастся бежать, цезарь выместит свой гнев на Авле и его семье. Если она хочет бежать, пусть бежит из дома Виниция. Тогда цезарь, не любящий заниматься чужими делами, быть может, вовсе не захочет помогать Виницию в погоне, и, во всяком случае, они избавятся от обвинения в оскорблении величества.

Лигия так и думала поступить. Авл даже не узнает, куда она исчезла, – она скроет это даже от Помпонию... Она убежит, однако, не из дома Виниция, а на пути туда. Он сообщил ей, под влиянием опьянения, что вечером придет за нею своих рабов. Он, вероятно, говорил правду, которой не высказал бы, если бы был трезв. Очевидно, он сам, или вместе с Петронием, говорил перед пиром с цезарем и выпросил у него обещание на следующий вечер выдать ее. Если же сегодня забудут о ней, пришлют взять ее завтра. Но Урс спасет ее. Он явится, возьмет ее с носилок, как вынес из триклиния, и они пустятся скитаться по свету. Урса не одолеет никто. Его не победил бы даже тот страшный силач, который боролся вчера в триклинии. Виниций может, однако, послать слишком много рабов, поэтому Урс должен сейчас же пойти к епископу Линну просить совета и помощи. Епископ сжалится над ней, не оставит ее в руках Виниция и прикажет христианам идти с Урсом спасать ее. Они отобьют ее, уведут, а потом Урс сумеет вынести ее из города и скрыть где-нибудь от власти римлян.

Лицо ее порозовело и осветилось улыбкой. Она ободрилась, как будто надежда на спасение превратилась уже в действительность. Она бросилась вдруг на шею к Актее и, прильнув прелестными устами к щеке гречанки, прошептала:

– Ты не выдашь нас, Актея, не правда ли?

– Клянусь тенью моей матери, – ответила вольноотпущенница, – я не выдам вас, моли только твоего Бога, чтобы Урсу удалось освободить тебя.

Голубые простодушные, как у ребенка, глаза великана сияли счастьем. Он не сумел ничего придумать, хотя ломал свою бедную голову, – но с такой задачей он справится. И днем ли, ночью ли, ему все равно!.. Он пойдет к епископу, потому что епископ читает в небе, что

следует и чего не следует делать. Но христиан он сумел бы созвать и без его помощи. Мало ли у него знакомых – и рабов, и гладиаторов, и вольных людей, – и в Субуре и за мостами. Он набрал бы их тысячу – и две. Он отобьет свою госпожу, и вывести ее из города также сумеет, сумеет и странствовать с нею. Они отправятся хоть на конец света, хоть на родину, где никто и не слышал о Риме.

Взор его устремился в пространство, как бы всматриваясь в безмерно отдаленное время, потом он произнес:

– В бор?.. Гей, что за бор, что за бор!..

Он тотчас же, однако, отогнал от себя эти образы.

Да, он немедленно пойдет к епископу, а к вечеру с сотней людей будет подстергать носилки. И не беда, если ее станут сопровождать не только рабы, но и преторианцы! И пусть лучше никто не подвертывается под его кулаки, хотя бы в железных доспехах... Железо не так уж крепко! Если хорошенько стукнуть по железу, так и голова под ним не выдержит.

Но Лигия с наставительной и вместе с тем детской важностью подняла кверху палец и сказала:

– Урс, «не убий».

Лигиец приложил свою похожую на палицу руку к затылку и стал бормотать, озабоченно потирая шею: ведь он должен же отнять ее, «свое солнышко»... Она сама сказала, что теперь настал его черед... Он будет стараться, – насколько возможно. Но, если случится, помимо желания?.. Ведь он же должен отнять ее! Уж если случится такой грех, он будет каяться так усердно, так горячо умолять Невинного Агнца о прощении, что Распятый Агнец смилуется над ним, бедным... Он ведь не хотел бы обидеть Агнца, но что же делать, если у него такие тяжелые руки...

Глубокое умиление отравилось на его лице; желая скрыть свои чувства, Урс поклонился и сказал:

– Так я пойду к святому епископу.

Актея, обняв Лигию, заплакала... Она еще раз постигла, что есть какой-то мир, в котором даже страдание дает больше счастья, чем все излишества и наслаждения в доме цезаря. Еще раз распахнулись перед нею какие-то двери, ведущие к свету, но она вместе с тем почувствовала, что недостойна переступить через их порог.

IX

Лигии жаль было Помпонии Грецины, которую она любила всем сердцем, и всей семьи Авла, однако отчаяние ее прошло. Она испытывала даже некоторое наслаждение при мысли, что жертвует для своей Истины довольством и спокойствием и обрекает себя на жизнь в скитаниях и неизвестности. Быть может, ее соблазняло несколько и детское любопытство – изведать, какова будет эта жизнь где-то в далеких краях, среди варваров и диких зверей, но в гораздо сильнейшей степени вдохновляла ее глубокая и твердая вера. Она была убеждена, что, поступая таким образом, она следует завету «Божественного Учителя» и что отныне Он сам будет пещись о ней, как о послушном и верном дитяти. Что же дурного может произойти с нею в таком случае? Если ее постигнут какие-либо страдания, она перенесет их во имя Его. Пробьет ли неожиданно смертный час, Он примет ее, и затем, когда умрет Помпония, они соединятся на всю вечность.

Она не раз, живя еще в семье Авла, томила свою детскую головку мыслями о том, что она, христианка, не может пожертвовать ничем для того Распятого, о котором с таким умилением вспоминал Урс. И вот теперь наступило время осуществить эти мечты. Лигия чувствовала себя почти счастливой и стала говорить о своем счастье Актее, но гречанка не могла понять ее. Покинуть все, покинуть дом, довольство, город, сады, храмы, портики, – все, что прекрасно,

покинуть излюбленный солнцем край и близких людей, и для чего? Для того чтобы бежать от любви молодого и прекрасного патриция?.. Рассудок Актеи отказывался понять подобный поступок. Были мгновения, когда она чувствовала, что в этом таится правда, быть может, даже какое-то беспредельное, неведомое счастье, но не могла уяснить себе этого, тем более что Лигию ожидало еще опасное приключение, угрожающее самой ее жизни. Актея была боязлива и со страхом думала о предстоящем вечере побега. Она не хотела, однако, говорить Лигии о своих опасениях; видя, что тем временем занялся светлый день и солнце заглянуло в атрий, она стала уговаривать девушку отдохнуть после проведенной без сна ночи. Лигия согласилась. Они вошли в обширную спальню, отделанную роскошно – во внимание к прежней связи Актеи с цезарем, и легли вместе, но Актея, несмотря на утомление, не могла уснуть. Она давно уже стала печальной и несчастной, но теперь ею овладела какая-то тревога, которой она не испытывала никогда раньше. До сих пор существование казалось ей лишь тяжелым и безнадежным, теперь же оно представилось ей вдруг позорным.

Сознание ее все больше смущалось. Двери, ведущие к свету, снова стали то отмыкаться, то затворяться. Но и в те мгновения, когда они раскрывались, неведомый свет ослеплял ее, и она ничего не могла различить с отчетливостью. Она как будто догадывалась лишь, что в этом сиянии таится какое-то безграничное блаженство, в сравнении с которым все остальное так ничтожно, что если бы, например, цезарь отдалил от себя Пoppею и снова полюбил ее, Актею, то и это было бы тленом. Вместе с тем ей думалось, что цезарь, которого она любит и невольно считает каким-то полубогом, в сущности столь же жалок, как и каждый невольник, а этот дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше любой груды камней. Под конец, однако, эти чувства, в которых она не могла разобраться, стали мучить ее. Ей хотелось уснуть, но, терзаемая тревогой, она не могла сомкнуть глаз.

Полагая, что Лигия, над которой тяготеет неизвестность и столько опасностей, также не спит, Актея повернулась к ней, чтобы поговорить о назначенном на вечер побеге.

Но Лигия спокойно спала. В темную спальню сквозь небрежно задернутую занавеску прокралось несколько ярких лучей, в которых крутилась золотистая пыль. При свете их Актея рассмотрела нежное лицо Лигии, подпертое обнаженной рукой, сомкнутые глаза и слегка раскрывшиеся уста. Она дышала ровно, но так, как дышат только во сне.

«Спит, может спать! – подумала Актея. – Она еще дитя».

Тем не менее через миг ей пришло в голову, что это дитя предпочитает бежать, чем сделаться любовницей Виниция, предпочитает нужду – позору, скитальчество – пышному дому возле Карин, нарядам, драгоценным украшениям, пирам, музыке лютней и цитр. Почему?

Актея стала всматриваться в Лигию, как бы желая прочесть ответ в ее сонном лице. Полюбовавшись на прекрасный лоб, нежный изгиб бровей, темные ресницы, разомкнувшиеся уста и вздымаемую спокойным дыханием девственную грудь, она подумала: «Как непохожа она на меня!»

Лигия показалась ей чудом, каким-то божественным видением, грезой богов, во сто крат прекраснейшею, чем все цветы в саду цезаря и все изваяния в его дворце. Но в сердце гречанки не было зависти. Напротив, при мысли об опасностях, угрожающих девушке, она прониклась глубокой жалостью. В ней пробудилось словно материнское чувство, Лигия показалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но вместе с тем и бесконечно дорогой сердцу. Приблизив уста к ее темным волосам, она стала целовать их.

А Лигия спала спокойно, точно дома, под опекою Помпонии Грецины, и спала довольно долго. Полдень уже прошел, когда она раскрыла свои голубые глаза и принялась осматривать спальню с немалым удивлением.

Ее, видимо, крайне удивило, что она проснулась не в доме Авла.

– Это ты, Актея? – спросила она наконец, разглядев в сумраке лицо гречанки.

– Да, Лигия.

– Разве теперь уже вечер?

– Нет, дитя мое, но полдень уже прошел.

– А Урс не вернулся?

– Урс не обещал вернуться, он сказал только, что вечером будет с христианами подстергать носилки.

– Правда.

Затем они вышли из спальни и отправились в баню, где Актея выкупала Лигию; позавтракав с нею, гречанка повела ее в дворцовые сады, в которых ей не угрожала никакая опасная встреча, так как цезарь и главнейшие из его приближенных еще спали. Лигия впервые в жизни увидела эти великолепные сады, заросшие кипарисами, соснами, дубами, оливковыми и миртовыми деревьями, среди которых белело целое население статуй, блестели недвижные зеркала прудов, цвели рощицы розовых кустов, орошаемых пылью фонтанов; входы живописных гротов заросли плющом или виноградом, на водах плавали серебристые лебеди, между изваяниями и деревьями блуждали прирученные газели из пустынь Африки и ярко оперенные птицы, привезенные из всех известных в то время стран света.

Сады оказались пустыми; кое-где работали лишь с лопатами в руках невольники, напевая вполголоса песни. Другие рабы, которым позволили передохнуть, сидели над прудами или в тени дубов, в трепещущих блестках солнечных лучей, дробящихся сквозь листву; остальные, наконец, поливали розы или бледно-лиловые цветы шафрана.

Актея и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всевозможные чудеса садов, и хотя Лигия была подавлена другими мыслями, однако сохранила слишком много детской впечатлительности, чтобы побороть внушаемые этим зрелищем интерес, любопытство и удивление. Ей думалось даже, что цезарь, если бы был добрым, мог бы жить в таком дворце и в таких садах очень счастливо.

Несколько утомившись, наконец они сели на скамью, почти утопающую в зелени кипарисов, и стали беседовать о том, что больше всего удручало их сердца, то есть о вечернем побеге Лигии. Актея была далеко менее уверена в успехе побега, чем Лигия. Иногда ей казалось даже, что это безумный план, который не может удасться. Она чувствовала все сильнейшую жалость к Лигии. Приходило ей также в голову, что во сто крат безопаснее было бы попытаться уговорить Виниция. Она принялась расспрашивать, давно ли Лигия познакомилась с Виницием и не думает ли, что, может быть, удастся упротить его, чтобы он возвратил ее Помпонии?

Но Лигия печально покачала своей темнокудрой головкой.

– Нет. В доме Авла Виниций был другим, очень добрым, но после вчерашнего пира я боюсь его и предпочитаю бежать к лигийцам.

Актея продолжала расспрашивать:

– Однако в доме Авла он нравился тебе?

– Да, – ответила Лигия, опуская голову.

– Ведь ты не рабыня, чем была я, – в раздумье произнесла Актея. – На тебе Виниций мог бы жениться. Ты – заложница и дочь лигийского царя. Авл и Помпония любят тебя, как родное дитя, и охотно усыновят тебя. Виниций мог бы жениться на тебе, Лигия.

Но она ответила шепотом и еще печальнее:

– Я предпочитаю бежать к лигийцам.

– Хочешь, Лигия, чтобы я пошла сейчас к Виницию, разбудила его, если он спит, и повторила ему то, что говорю тебе в эту минуту? Послушай, моя дорогая, я пойду к нему и скажу: «Виниций, она царская дочь и любимое дитя славного Авла; если любишь ее, возврати ее семье Авла, а потом возьми, как жену, из их дома».

Девушка ответила голосом до того пониженным, что Актея едва расслышала:

– Я предпочитаю бежать к лигийцам.

И две слезы заблестели на ее опущенных ресницах.

Дальнейшую беседу прервал шорох приближающихся шагов, и раньше, чем Актея успела посмотреть, кто приближается, перед скамьей появилась Поппея Сабина с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев, вставленных в золотые прутья, слегка обвевая ее опахалами и вместе с тем охраняя еще от жаркого осеннего солнца. Перед нею черная, как черное дерево, эфиопка, с высокими, точно распертыми молоком грудями, несла на руке ребенка, запеленатого в пурпурную ткань с золотой бахромой. Актея и Лигия встали, надеясь, что Поппея пройдет мимо скамьи, не обративши на них внимания, но она остановилась перед ними и сказала:

– Актея, погремушки, которые ты пришила к кукле, были прикреплены дурно; ребенок оторвал одну из них и потянул ко рту, к счастью, Лилита заметила вовремя.

– Извини, божественная, – ответила Актея, скрещивая руки на груди и опуская голову.

Поппея стала смотреть на Лигию и спросила:

– Что это за рабыня?

– Это не рабыня, божественная августа, а воспитанница Помпони Гречины и дочь лигийского царя, доверенная им в качестве заложницы Риму.

– Она пришла навестить тебя?

– Нет, августа. С третьего дня она живет во дворце.

– Была она вчера на пире?

– Была, августа.

– По чьему повелению?

– По повелению цезаря...

Поппея стала еще внимательнее смотреть на Лигию, стоявшую перед ней, склонив голову, то поднимая из любопытства свои лучистые глаза, то снова опуская веки. Между бровями августа выступила вдруг морщина. Ревниво оберегая свою красоту и власть, она жила в постоянной тревоге, опасаясь, что когда-нибудь счастливая соперница погубит ее так же, как она сама погубила Октавию. Поэтому каждое красивое женское лицо при дворе возбуждало в ней подозрительность. Поппея глазом знатока окинула одним взором все формы Лигии, оценила каждую черту ее лица и... испугалась. «Это – просто нимфа, – подумала она, – ее родила Венера». И вдруг в уме ее мелькнула мысль, никогда не приходившая ей в голову при виде какой бы то ни было красавицы: она гораздо старше! В ней заговорили затронутое самолюбие и боязнь, всевозможные опасения стали роиться в ее голове. «Может быть, Нерон ее не заметил или не оценил. Но что может произойти, если он встретит ее днем, столь дивную при свете солнца?.. Кроме того, она не рабыня! Она – царская дочь, хотя и варварского происхождения, но все-таки царская дочь!.. Бессмертные боги! Она столь же прекрасна, как я, но моложе!» И складка между бровями Поппеи обрисовалась еще глубже, а глаза ее из-под золотистых ресниц засветились холодным блеском.

Обратившись к Лигии, она спросила, по-видимому, спокойно:

– Говорила ли ты с цезарем?

– Нет, августа.

– Почему ты предпочитаешь жить здесь, чем в семье Авла?

– Я не предпочитаю, госпожа. Петроний склонил цезаря отобрать меня от Помпони, но я здесь поневоле, о, госпожа!..

– И ты хотела бы вернуться к Помпони?

Последний вопрос Поппея произнесла голосом более мягким и благосклонным; в сердце Лигии зародилась надежда.

– Госпожа, – сказала она, простирая к ней руки. – Цезарь обещал отдать меня, как рабыню, Виницию, но ты заступись за меня и возврати меня к Помпони.

– Значит, Петроний склонил цезаря отобрать тебя от Авла и отдать Виницию?

– Да, госпожа. Виниций должен сегодня прислать за мною, но ты, милосердная, сжалишься надо мной.

Сказав это, она наклонилась и, ухватившись за край одеяния Поппеи, стала с бьющимся сердцем ожидать ответа. Поппея смотрела на нее несколько мгновений с лицом, осветившимся злостной усмешкой, и затем сказала:

– Так обещаю тебе, что ты еще сегодня станешь рабыней Виниция.

С этими словами она отошла как прекрасное, но злое привидение. До Лигии и Актеи донесся лишь крик ребенка, который неизвестно почему заплакал.

Глаза Лигии также наполнились слезами, но она тотчас же взяла Актею за руку и сказала:

– Вернемся. Помощи следует ожидать лишь оттуда, откуда она может явиться.

Они возвратились в атрий, из которого не выходили уже до самого вечера. Когда стемнело и рабы внесли четверные лампы с большими огнями, они были очень бледны. Разговор их прерывался каждую минуту; обе все время прислушивались, не приближается ли кто-нибудь. Лигия все повторяла, что как ни жаль ей расстаться с Актеей, однако она предпочла бы, чтобы все кончилось сегодня, так как Урс, несомненно, в темноте уже ожидает ее. Тем не менее дыхание ее сделалось от волнения более частым и громким. Актея лихорадочно собирала какие могла драгоценности и, завязывая их в край пеплума, заклинала Лигию не отказываться от этого дара и средства к побегу. Время от времени водворялось глухое безмолвие, то и дело обманывавшее слух. Обоим казалось, что слышится то какой-то шепот за занавеской, то отдаленный плач ребенка, то лай собак.

Вдруг завеса от передней бесшумно раздвинулась, и в атрий вошел, как дух, высокий смуглый человек с рябым лицом. Лигия с первого же взгляда узнала Атицина, Винициева вольноотпущенника, приходившего в дом Авла.

Актея вскрикнула, но Атицин низко поклонился и сказал:

– Кай Виниций приветствует божественную Лигию и ожидает ее на пир в доме, убранном зеленью.

Уста девушки совсем побелели.

– Я иду, – ответила она.

И Лигия на прощание крепко обняла Актею.

Х

Дом Виниция действительно был убран зеленью мирт и плющом, гирлянды из которых красовались на стенах и над дверьми. Колонны были обвиты виноградом. В атрии, отверстие которого для ограждения от ночного холода завесили шерстяною пурпурной тканью, было светло как днем. В комнате горели светильники о восьми и двенадцати огнях, имеющие вид сосудов, деревьев, зверей, птиц или статуй, держащих лампы, наполненные благовонным маслом; изваянные из алебаstra, мрамора, золоченой коринфской меди, они хотя уступали знаменитому светильнику из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, однако также были прекрасны и сделаны прославленными художниками. Некоторые из них были заслонены александрийскими стеклами или завешены прозрачными индийскими тканями красной, голубой, желтой, фиолетовой окраски, так что весь атрий отливал разноцветными огнями. Воздух был напоен ароматом нарда, к которому Виниций привык, полюбив его на Востоке. Глубь дома, в которой мелькали очертания рабов и рабынь, также озарялись огнями. В триклинии стол был накрыт на четыре прибора, так как в пиршестве, кроме Виниция и Лигии, должны были принять участие Петроний и Хризотемида.

Виниций последовал мнению Петрония, который посоветовал ему не идти за Лигией, а послать Атицина с испрошенным у цезаря разрешением, самому же встретить ее дома и принять ласково, даже с оказанием почета.

– Вчера ты напился пьян, – сказал ему Петроний, – я смотрел на тебя: ты обращался с нею, как каменотес из Албанских гор. Не будь слишком назойливым и помни, что хорошее вино следует пить не торопясь. Знай, кроме того, что отраднo жаждать обладания, но еще сладостнее возбуждать вожделение.

Хризотемида имела об этом собственное, несколько иное мнение, но Петроний, называя ее своею весталкой и голубкой, стал объяснять различие, которое неизбежно должно быть между опытным цирковым наездником и мальчиком, впервые вступающим на колесницу. Обратившись затем к Виницию, он сказал:

– Внуши ей доверие, развесели ее, выкажи великодушие. Я не хотел бы присутствовать на печальном пире. Поклянись хоть Гадесом, что возвратишь ее Помпонии, а потом уж от тебя будет зависеть, чтобы завтра она предпочла остаться у тебя.

Указав на Хризотемиду, он добавил:

– Я уже пять лет поступаю приблизительно таким образом по отношению к этой ветреной горлице и не могу пожаловаться на ее суровость...

Хризотемида ударила его веером из павлиньих перьев и сказала:

– Разве я не сопротивлялась, сатир?

– Ради моего предшественника...

– Разве ты не был у моих ног?

– Чтобы надевать на их пальцы перстни.

Хризотемида невольно посмотрела на свои ноги, на пальцах которых в самом деле искрились драгоценные камни, и они все рассмеялись. Но Виниций не слушал их спора. Сердце его тревожно билось под узорчатым одеянием сирийского жреца, в которое он нарядился, чтобы принять Лигию.

– Они, должно быть, уже вышли из дворца, – произнес он, как бы говоря сам с собой.

– Вероятно, уже вышли, – подтвердил Петроний. – Не рассказать ли тебе в ожидании о чудесах Аполлония Тианского или историю Руффина, которую, не помню почему, я так и не окончил?

Но Виниция столь же мало интересовал Аполлоний Тианский, как и история Руффина. Мысли его не отрывались от Лигии, и хотя он чувствовал, что приличнее было встретить ее дома, чем идти в роли принудителя во дворец, однако сожалел, что не пошел туда, – тогда он мог бы раньше увидеть Лигию и сидеть в темноте возле нее в двухместных носилках.

Тем временем рабы принесли бронзовые чаши на треножниках, украшенные бараньими головами, и стали сыпать на тлевшие в них угли небольшие кусочки мирры и нарда.

– Они уже сворачивают к Каринам, – снова сказал Виниций.

– Он не утерпит, выбежит навстречу и, пожалуй, еще разоидется с ними, – воскликнула Хризотемида.

Виниций бессмысленно усмехнулся и сказал:

– Вовсе нет, я утерплю.

Ноздри его стали, однако, раздуваться и сопеть; Петроний, видя это, пожал плечами.

– В нем нет философии и на один сестерций. Никогда не удастся мне сделать этого сына Марса человеком.

Виниций даже не расслышал его слов.

– Они теперь уже на Каринах...

Носилки Лигии, действительно, свернули к Каринам. Рабы, называвшиеся лампадариями, шли впереди; педисеквии следовали по обеим сторонам носилок. Атицин шел за ними, наблюдая за порядком.

Они подвигались вперед очень медленно, так как улицы не были освещены, а фонари тускло озаряли дорогу. Вблизи дворца лишь изредка попадались навстречу прохожие с фонарями; дальше, однако, на улицах господствовало необычное оживление. Из каждого почти

перекрестка выходили люди, втроем или вчетвером, без факелов и светильников, все в темных плащах. Некоторые из них присоединились к рабам, сопровождающим носилки; другие, в большем числе, шли навстречу или шатались точно пьяные. По временам движение настолько затруднялось, что «лампадарии» принуждены были кричать:

– Дорогу благородному трибуну, Каю Виницию!

Лигия смотрела, отодвинув занавеску, на этих людей в темных плащах и стала дрожать от волнения. Надежда и беспокойство сменялись в ее сердце. «Это он! Это Урс и христиане! Сейчас начнется, – шептала она дрожащими устами. – Помоги, Христос! Спаси меня, Христос!»

Атицин, сначала не обративший внимания на необычное оживление улиц, наконец встревожился. Происходило нечто странное. Лампадариям приходилось все чаще кричать: «Дорогу носилкам благородного трибуна!» С боков неизвестные люди так напирали на носилки, что Атицин приказал рабам отгонять их палками.

Вдруг впереди раздались крики, сразу погасли все фонари. Возле носилок произошло замешательство, началась свалка.

Атицин понял: на носилки произведено нападение.

Догадка эта напугала его. Все знали, что цезарь нередко забавляется во главе отряда при-спешников разбоями – и в Субуре и в других кварталах города. Известно было, что из этих ночных приключений Нерон иногда возвращался с синяками. Но оборонявшихся неизбежно постигала смерть, хотя бы они были сенаторами. Дом «вигилиев», на которых лежала обязанность охранять порядок в городе, находился невдалеке, но стража в подобных случаях притворялась глухой и слепой. А между тем около носилок завязалось побоище: люди стали бороться, наносить удары, опрокидывать противников и топтать. Атицин сообразил, что важнее всего обезопасить Лигию и себя, а остальных можно оставить на волю судьбы. Вытащив девушку из носилок, он схватил ее на руки и бросился бежать, надеясь скрыться в темноте.

Но Лигия стала кричать:

– Урс! Урс!

Она вышла из дворца в белом одеянии, и различить ее было не трудно. Атицин начал набрасывать на нее свободной рукой свой собственный плащ, как вдруг шею его сдавили ужасные клещи, на голову, как камень, обрушилась огромная дробящая масса.

Он упал в тот же миг, как вол, поверженный обухом перед алтарем Зевса.

Большая часть рабов была уже распростерта на земле, остальные спасались бегством, расшибаясь среди густого мрака о выступы стен. На месте побоища остались разбитые во время свалки носилки.

Урс понес Лигию к Субуре, товарищи сопровождали его, постепенно расходясь по окрестным улицам.

Рабы вскоре стали собираться перед домом Виниция и совещаться. Не осмеливаясь войти, они решили вернуться на место нападения, где нашли несколько мертвых тел, в том числе и Атицина. Он еще бился в предсмертных судорогах: содрогнувшись в последний раз, он вытянулся и испустил дух.

Тогда рабы подняли его и отнесли к дому Виниция. Они остановились у ворот. Необходимо было все-таки сообщить о происшедшем.

– Пусть говорит Гулон, – зашептали несколько голосов. – У него лицо в крови, как и у нас, и господин любит его. Гулону угрожает меньшая опасность, чем нам.

Германец Гулон, старый раб, выпестованный Виниция и доставшийся ему по наследству от матери, сестры Петрония, сказал:

– Я сообщу ему, но пойдемте все вместе. Пусть гнев его обрушится не на меня одного.

Между тем терпение Виниция окончательно истощилось. Петроний и Хризотемида подсмеивались над ним, он ходил быстрыми шагами по атрию, повторяя:

– Им следовало бы уже быть здесь! Им следовало бы уже быть здесь!..

Он хотел идти навстречу, но Петроний и Хризотемида удерживали его.

Вдруг в сенях слышались шаги, – и в атрий хлынула толпа рабов; торопливо разместившись вдоль стены, они подняли руки и стали издавать жалобные вопли:

– Аaaa!.. aa!

Виниций бросился к ним.

– Где Лигия? – закричал он страшным, изменившимся голосом.

– Аaaa!!!

Гулон выступил вперед со своим окровавленным лицом и жалобно воскликнул:

– Вот кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь, господин! Вот кровь!..

Но Виниций, не дав ему окончить, схватил бронзовый подсвечник и одним ударом разбил ему череп. Схватившись затем за голову обеими руками, он вцепился пальцами в волосы и стал повторять хриплым голосом:

– Me miserum, me miserum!..

Лицо его посинело, глаза закатились, изо рта выступала пена.

– Бичей! – зарычал он нечеловеческим голосом.

– Господин! Аaa!.. пощади! – стонали невольники.

Петроний встал с выражением отвращения на лице.

– Пойдем, Хризотемида, – сказал он, – если хочешь смотреть на мясо, я прикажу взломать лавку мясника на Каринах.

Он вышел из атрия. По всему дому, убранному зеленым плющом и приготовленному для пира, спустя мгновение стали раздаваться стоны и свист бичей, не прерывавшийся почти до утра.

Конец первой части.

Часть вторая

I

В эту ночь Виниций совсем не ложился. Через некоторое время после ухода Петрония, когда стоны бичуемых рабов не утолили ни горя его, ни его неистового гнева, он собрал толпу других слуг и во главе их бросился поздней ночью разыскивать Лигию. Он осмотрел Эксвилинский квартал, Субурру, Виллус-Сцелератус и все прилегающие к ним переулки. Затем, обойдя Капитолий, Виниций перебрался через мост Фабриция на остров; оттуда он проник в часть города, расположенную по ту сторону Тибра, и обежал ее. Он сознавал, что эти поиски бесцельны, не надеялся найти Лигию и разыскивал ее главным образом для того, чтобы чем-нибудь заполнить ужасную ночь. Он возвратился домой лишь на рассвете, когда в городе стали уже появляться возы и мулы продавцов овощей и пекари начали открывать лавки.

Вернувшись, Виниций приказал убраться тело Гулона, до которого никто не посмел прикоснуться; рабов, на которых молодой трибун выместил утрату Лигии, он велел сослать в свои поместья, что считалось наказанием чуть ли не более жестоким, чем смерть. Бросившись, наконец, на устланную тканью скамью в атрие, Виниций стал бессвязно придумывать, каким бы образом найти и захватить Лигию.

Он не мог себе представить, что никогда больше не увидит Лигию, при одной мысли о том, что он может потерять ее, им овладевало безумие. Своевольный от природы, молодой воин впервые в жизни натолкнулся на отпор, на чужую непреклонную волю, и просто не мог понять, как смеет кто-либо противиться его вожделению. Виниций предпочел бы, чтобы погиб весь мир, чтобы Рим превратился в развалины, чем отказаться от цели своих желаний. Чашу наслаждений похитили у него почти из-под уст, ему казалось поэтому, что совершилось нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим.

Но больше всего негодовал он на свою участь, потому что никогда в жизни не желал ничего так страстно, как обладания Лигией. Он чувствовал, что не может жить без нее, не мог себе представить, что будет делать без нее завтра, как проживет следующие дни. Иногда им овладевал гнев на нее, он впадал почти в неистовство. Он хотел бы тогда иметь ее в своей власти, чтобы бить ее, влачить за волосы по спальням, надругаться над ней, – потом снова сердце его сжималось от тоски по ее голосу, очертаниям тела, глазам, и он чувствовал, что радостно упал бы к ее ногам. Он призывал ее, грыз пальцы, сжимал голову руками. Он напрягал все силы, чтобы принудить себя спокойно думать, как бы отыскать Лигию, и не мог. В уме его мелькали тысячи средств и способов, один безумнее другого. Наконец ему пришло в голову, что молодую девушку похитил Авл! Если это и не так, Авл, во всяком случае, должен знать, где она скрывается.

Он вскочил, решившись бежать в дом Авла. Если Авл не отдаст Лигию, если не испугается угроз, Виниций пойдет к цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении и выхлопочет, чтобы ему послали смертный приговор, но раньше Виниций заставит его сознаться, где скрывается Лигия... Он отомстит, впрочем, если ее возвратят даже добровольно. Они, правда, приютили его в своем доме, ухаживали за ним, но это ничего не значит! Одною нанесенною ему теперь обидой они освободили его от всякой благодарности.

Мстительный и жестокий трибун мысленно наслаждался отчаянием Помпонию Грецины, представляя себе минуту, когда центурион принесет смертный приговор старому Авлу. Он был почти уверен, что выхлопочет этот приговор. Ему поможет Петроний. Притом же и сам

цезарь ни в чем не отказывает своим приспешникам-августинцам, если только просьба не идет вразрез с его собственными намерениями и желаниями.

И вдруг сердце его чуть не замерло под влиянием ужасного предположения:

– Не сам ли цезарь отбил Лигию?

Все знали, что цезарь часто развлекался со скуки ночными нападениями. Даже Петроний принимал участие в этих забавах. Главной целью таких стычек служил, впрочем, захват женщин и подбрасывание затем на солдатском плаще, до утраты ими сознания. Сам Нерон называл иногда эти похождения «ловлей жемчужин», так как в глубине кварталов, густо заселенных бедным людом, удавалось иногда натолкнуться на истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда «сагация», то есть подбрасывание на солдатском плаще, заменялась настоящим похищением, и «жемчужину» отправляли или в Палатинский дворец, или в одну из бесчисленных вилл цезаря, или же, наконец, Нерон дарил ее одному из своих приспешников. Такая участь могла постигнуть и Лигию. Цезарь присматривался к ней во время пира, и Виниций ни на мгновение не усомнился, что она, конечно, показалась Нерону прекраснее всех женщин, которых он когда-либо видел. Это очевидно! Нерон, впрочем, имел ее у себя, в Палатинском дворце, и мог задержать открыто. Но цезарь, как справедливо говорил Петроний, был труслив в своих злодеяниях; имея власть действовать открыто, он всегда предпочитал действовать тайно. В настоящем случае его могло побудить к этому и опасение выдать себя перед Поппеей. Виницию пришлось теперь в голову, что Авл и Помпония Грецина, быть может, не отважились бы насильственно захватить девушку, подаренную ему цезарем. Да и кто осмелился бы сделать это? Не тот ли великан-лигиец с голубыми глазами, который дерзнул тогда войти в триклиний и унести ее с пира на руках? Но где мог бы он скрыться с нею, куда мог бы отвести ее? Нет, раб неспособен на такой поступок. Следовательно, Лигию похитил не кто иной, как сам цезарь.

При этой мысли у Виниция потемнело в глазах и лоб оросился каплями пота. Если это правда, Лигия потеряна для него навсегда. Ее можно бы вырвать из любых других рук, но не из рук цезаря. Теперь ему остается восклицать с большим основанием, чем прежде: «*Vae misero mihi!*»²⁸ Он представил себе воображением Лигию в объятиях Нерона и впервые в жизни понял, что бывают мысли, которые просто невыносимы. Только теперь он уяснил себе, как сильно полюбил ее. В памяти его стал мелькать образ Лигии, подобно тому, как с быстротой молнии проносится вся минувшая жизнь в сознании утопающего. Он как будто видит ее, слышит каждое ее слово. Вот она у фонтана, вот в доме Авла и на пиршестве. Он снова ощущает ее близость, ощущает благоухание ее волос, теплоту ее тела, сладость лобзаний, которыми на пиру впивался в ее невинные уста. И она представилась ему во сто крат прекраснейшей, более возжеленной и дорогой сердцу, чем когда-либо, – во сто крат более превосходящей всех смертных женщин и всех богинь. И когда он подумал, что Нерон, быть может, овладел всем, что так глубоко запало ему в душу, претворилось в его кровь, стало для него источником жизни, им овладела боль, чисто телесная и столь ужасная, что ему хотелось колотиться головой о стены атрия, пока она не разобьется. Он чувствовал, что может сойти с ума и что непременно лишился бы рассудка, если бы не оставалось еще чувства мести. Раньше ему казалось, что он лишится возможности жить, если не отыщет Лигии, – теперь же он столь же глубоко чувствовал, что не сможет умереть, пока не отомстит за нее. Лишь одна эта мысль доставляла ему некоторое облегчение. «Я стану твоим Кассием Хереей!» – повторял он, мысленно обращаясь к Нерону. Опустив затем руки к вазам с цветами, стоявшим вокруг имплевия, он сжал горсть земли и произнес страшную клятву Эребу, Гекате и своим домашним ларам в том, что отомстит за Лигию.

И в самом деле ему стало легче. Теперь, по крайней мере, ему есть для чего жить, есть чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от намерения отправиться к Авлу, Виниций приказал

²⁸ Горе мне, несчастному!

нести себя к Палатинскому дворцу. На пути он сообразил, что если его не допустят к цезарю или если захотят осмотреть, нет ли при нем оружия, то это явится доказательством, что Лигию захватил цезарь. Оружия он, однако, с собою не взял. Он утратил вообще сознание, сохранив, – как обыкновенно случается с людьми, увлеченными одною мыслью, – понимание лишь того, что касается мщения. Он не хотел упустить его излишней поспешностью. Кроме того, он больше всего стремился повидать Актею, так как ему казалось, что от нее он узнает правду. Иногда его осеняла надежда, что, может быть, он увидит и Лигию, при одной мысли об этом его охватывала дрожь. Не похитил ли ее цезарь, не зная, кого отбивает у рабов? Быть может, Нерон возвратит ему Лигию сегодня же? Но он тотчас же понял несостоятельность этого предположения. Если бы хотели отослать к нему Лигию, ее отослали бы вчера вечером. Одна Актея может все разъяснить, и надо первым делом повидаться с нею.

Остановившись на этом решении, Виниций приказал носильщикам прибавить шагу; по дороге мысли его путались, он думал то о Лигии, то о планах мщения. Он слышал, что жрецы египетской богини Пахты умеют насылать болезни на кого им угодно, и решил узнать от них о способе. На Востоке рассказывали ему также, что иудеи знают какие-то заклятия, посредством которых покрывают язвами тело врагов. У него в доме между рабами наберется десятка два иудеев, по возвращении он непременно прикажет бичевать их до тех пор, пока они не выдадут этой тайны. С особенным, однако, наслаждением думал он о коротком римском мече, извлекающем потоки крови, – такие именно, какие брызнули из Кая Калигулы, оставив неизгладимые пятна на колонне портика. Он был готов обагрить кровью весь Рим, а если бы какие-нибудь мстительные боги обещали ему истребить все человечество, кроме него и Лигии, он согласился бы и на это.

Перед аркой он сосредоточил все свое внимание и подумал при виде преторианской стражи, что, если хоть сколько-нибудь будут стараться задержать его, это послужит доказательством, что Лигия содержится во дворце по воле цезаря. Но старший центурион дружески улыбнулся ему и, приблизившись на несколько шагов, произнес:

– Приветствую тебя, благородный трибун. Если ты желаешь предстать перед лицом цезаря, ты выбрал неудачную минуту: я не знаю, удастся ли тебе увидеть его.

– Что случилось? – спросил Виниций.

– Божественная маленькая Августа со вчерашнего дня внезапно заболела. Цезарь и Августа Поппея не отходят от нее вместе с врачами, которых созвали со всего города.

Это было важное событие. Цезарь, когда у него родилась эта дочь, просто обезумел от счастья и принял ее *«extra humanum gaudium»*²⁹. Еще до разрешения Поппеи от бремени сенат самым торжественным образом поручил ее лоно покровительству богов. В Анции, когда родилась у нее дочь, были отпразднованы пышные игры и, кроме того, сооружен храм двум Фортунам. Нерон, не умевший ни в чем соблюсти меру, и этого ребенка полюбил безмерно, для Поппеи дочь была также дорога, хотя бы потому, что упрочила ее положение и сделала ее влияние неоспоримым.

От здоровья и жизни маленькой Августы могли зависеть судьбы всей империи. Но Виниций был так увлечен собственным делом и своей любовью, что ответил, не обратив почти никакого внимания на сообщения центуриона:

– Я хочу увидаться только с Актеей.

Но Актея также оказалась занятой при ребенке, и Виницию пришлось долго дожидаться ее возвращения. Она пришла лишь около полудня, с измученным и бледным лицом, еще более поbledневшим при виде Виниция.

– Актея! – воскликнул он, схватив ее за руки и притянув в середину атрия, – где Лигия?

– Я хотела спросить об этом у тебя, – ответила она, с упреком смотря ему в глаза.

²⁹ Со сверхчеловеческой радостью.

А он, хотя дал себе слово спокойно допросить ее, снова сжал голову руками и стал повторять с лицом, искаженным от горести и гнева:

– Она исчезла. Ее похитили на пути ко мне!

Виниций, однако, вскоре опомнился и, наклонив свое лицо к лицу Актеи, произнес сквозь стиснутые зубы:

– Актея... Если тебе дорога жизнь, если ты не хочешь стать причиной несчастий, которых не можешь даже вообразить себе, скажи мне правду: не цезарь ли похитил ее?

– Цезарь не выходил вчера из дворца.

– Заклинаю тебя тенью твоей матери, именем всех богов: не скрывают ли ее во дворце?

– Марк, клянусь тенью моей матери, ее нет во дворце и не цезарь похитил ее. Со вчерашнего дня заболела маленькая Августа, и Нерон не отходит от ее колыбели.

Виниций вздохнул с облегчением. То, что казалось самым страшным, перестало угрожать ему.

– Значит, – сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, – ее отбили Авл и Помпония, в таком случае – горе им!

– Сегодня утром здесь был Авл Плавций. Он не мог повидаться со мной, потому что я была занята при ребенке, но расспрашивал о Лигии Эпафродита и других дворцовых слуг, и сказал им, что придет еще раз поговорить со мной.

– Он хотел отклонить от себя подозрение. Если бы он в самом деле не знал, что случилось с Лигией, он пошел бы искать ее в моем доме.

– Он оставил для меня несколько слов на табличке; из них ты увидишь, что Авл, зная, что цезарь отобрал от него Лигию по желанию твоему и Петрония, рассчитывал, что девушку отошлют к тебе, и сегодня утром он был в твоём доме, где ему сообщили о происшедшем.

Сказав это, Актея пошла в спальню и вскоре вернулась с табличкой, которую оставил для нее Авл.

Виниций прочитал и умолк. Актея, как будто угадав его мысли по сумрачному выражению лица, сказала:

– Нет, Марк. Произошло то, чего желала сама Лигия.

– Ты знала, что она хочет бежать! – гневно воскликнул Виниций.

Она посмотрела на него своими задумчивыми глазами почти сурово.

– Я знала, что она не хочет сделаться твоей наложницей.

– А ты сама чем была всю жизнь?!

– Я была раньше рабыней.

Но Виниций не перестал горячиться: цезарь подарил ему Лигию, следовательно, ему незачем спрашивать, чем она была раньше. Он добудет ее хотя бы из-под земли и сделает из нее, что ему угодно. Да, она будет его наложницей. Он прикажет сечь ее, сколько ему вздумается. Когда она надоест ему, он отдаст ее последнему из своих рабов или сошлет вертеть жернова в свои африканские поместья. Теперь он станет разыскивать ее и найдет только затем, чтобы покарать, сокрушить, заставить ее смириться.

Горячась все больше, он до такой степени утратил чувство меры, что даже Актея поняла всю преувеличенность его угроз: он, очевидно, неспособен осуществить их, говорит лишь под влиянием гнева и отчаяния. Она, вероятно, даже сжалилась бы над его страданиями, но неистовство Виниция истощило ее терпение, так что она наконец спросила, зачем он пришел к ней.

Виниций не сразу сообразил, что надо ответить Актее. Он пришел к ней, потому что так захотел, потому что думал, что она сообщит ему какие-нибудь сведения, но, в сущности, пришел лишь к цезарю и, не будучи допущен к нему, завернул к ней. Лигия, скрывшись, воспротивилась воле цезаря, поэтому он уприсит Нерона, чтобы он повелел разыскивать Лигию по всему городу и по всему государству, хотя бы пришлось прибегнуть для этой цели к помощи всех

легионов и перешарить по очереди каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу, и розыски начнутся ныне же. Актея сказала ему в ответ на это:

– Остерегайся, как бы не потерять ее навсегда именно в то время, когда ее отыщут по повелению цезаря.

Виниций сдвинул брови.

– Что значат твои слова? – спросил он.

– Выслушай меня, Марк! Вчера я гуляла с Лигией в здешних садах, мы встретили Поппею с маленькой Августой, которую несла негритянка Лилита. Вечером ребенок захворал, а Лилита уверяет, что его околдовали, и обвиняют ту чужеземку, с которой они встретились в садах. Если ребенок выздоровеет, об этом позабудут, в противном же случае Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ни нашли ее, ничто не спасет ее.

Наступило молчание; потом Виниций заметил:

– Может быть, она и в самом деле околдовала ее: приворожила же она меня?

– Лилита повторяет, что ребенок заплакал тотчас же, как только она пронесла его возле нас. И в самом деле, девочка заплакала, должно быть, ее вынесли в сад уже больной. Марк, ищи ее сам, где хочешь, но не говори о ней с цезарем, пока маленькая Августа не выздоровеет, потому что навлечешь на Лигию мщение Поппеи. Достаточно уже ее глаза пролили слез из-за тебя, и да хранят теперь все боги ее бедную голову.

– Ты ее любишь, Актея? – печально спросил Виниций.

В глазах вольноотпущенницы заблестели слезы.

– Да, я полюбила ее.

– Потому что она не отплатила тебе ненавистью, как мне.

Актея посмотрела на него, как бы колеблясь или желая проверить, искренно ли он говорит, и потом сказала:

– Необузданный и ослепленный человек! Она тебя любила!

Виниций вскочил, точно обезумев от этих слов. Неправда! Она ненавидит его. Откуда может знать об этом Актея?.. Неужели Лигия, после одного дня знакомства, доверила ей такое признание? Что это за любовь, предпочитающая скитальчество, позор нищеты, неуверенность в завтрашнем дне и, быть может, жалкую смерть убранному зеленому дому, в котором ожидает с пиршеством возлюбленный? Пусть лучше не говорят ему таких вещей, не то он может лишиться рассудка. Он не отдал бы этой девушки за все сокровища Палатинского дворца, – а она убежала. Что это за любовь, боящаяся наслаждения и порождающая лишь муки? Кто поймет это? Кто может растолковать? Если бы его не поддерживала надежда, что он найдет ее, он пронзил бы себя мечом! Любовь отдается, а не отнимает. Были минуты в доме Авла, когда он сам верил в близкое счастье, но теперь он убедился, что она ненавидела его, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце.

Но Актея, обыкновенно боязливая и кроткая, в свою очередь разразилась негодующими упреками: пусть подумает Виниций, как добивался он владеть ею? Вместо того чтобы просить ее у Авла и Помпонии, он коварно отнял дитя от родителей. Он хотел сделать ее не женой, а наложницей, ее, воспитанницу почтенной семьи, ее, царскую дочь! Он привел Лигию в этот дом злодеяний и позора, оскорбил ее невинные глаза зрелищем омерзительного пира, поступал с нею как с распутницей. Разве он забыл, какова семья Авла? И что за женщина Помпония Грецина, воспитавшая Лигию? Неужели у него нет настолько ума, чтобы понять, что это совсем иные женщины, чем Нигидия, Кальвия, Криспинилла, Поппея или все те, которых он встречает в доме цезаря? Неужели, увидевши Лигию, он не проникся сразу уверенностью, что эта чистая душою девушка предпочтет смерть позору? Разве он знает, каким богам она поклоняется, и не лучше ли, не возвышеннее ли эти боги, чем распутная Венера или Изиды, которую чтут развратные римлянки? Нет, Лигия не сообщала ей никаких признаний, но говорила, что ждет спасения от него, Виниция; она надеялась, что цезарь по его просьбе позволит ей вернуться

домой, что Виниций возвратит ее Помпонии. Говоря об этом, Лигия смущалась, как девушка, которая любит и доверяет. Сердце ее билось для него, но он сам восстановил ее против себя, внушил ей ужас, оскорбил ее, и теперь может разыскивать ее при содействии солдат цезаря, но пусть знает, что если ребенок Нерона умрет, на нее падет подозрение – и гибель ее станет неминуемой.

Несмотря на бушевавший в нем гнев и огорчение, эти слова тронули Виниция. Уверения Актеи, что Лигия любила его, потрясли молодого трибуна до глубины души. Он вспомнил, как играл румянец на ее лице и разгорались лучистым блеском глаза, когда она слушала его признания в саду Авла. Ему показалось, что тогда действительно в ней зарождалась любовь к нему, и при одной мысли об этом сердце его исполнилось радости, во сто крат сильнейшей, чем счастье, которого он жаждал. Он подумал, что в самом деле мог овладеть ею без насилия и притом иметь ее любящей. Она обвила бы пряжей двери его и умастила бы их волчьим салом, а потом возила бы, как жена, на овечьем руне, у его очага. Он услышал бы из ее уст освященные обычаем слова: «Где ты, Кай, там и я, твоя Кайя», – и она навсегда стала бы принадлежать ему. Почему он не поступил таким образом? Ведь он был готов жениться на ней. А теперь она исчезла, и он, может быть, не найдет ее, а если и найдет, может ее погубить, если же и не погубить, его предложения не захотят принять ни Авл, ни Лигия.

Гневный порыв снова овладел им, снова стал поднимать дыбом волосы на его голове, но теперь Виниций негодовал не на Авла и Помпонию, не на Лигию: гнев его обратился на Петрония. Всею виною Петроний. Если бы не он, Лигия не была бы обречена на скитальчество, сделалась бы его невестой, и никакая опасность не угрожала бы ее дорогой жизни. А теперь все уже совершилось, теперь уже слишком поздно загладить непоправимое зло.

– Слишком поздно!

Он почувствовал, что бездна разверзлась под его ногами. Что предпринять, как поступить, куда обратиться?.. Актея повторила, как эхо, слова: «слишком поздно», которые в чужих устах прозвучали для него как смертный приговор. Он понимал лишь одно: необходимо во что бы то ни стало отыскать Лигию, не то с ним произойдет что-то ужасное.

Запахнувши бессознательным движением тогу, он хотел уйти, даже не попрощавшись с Актеей, как вдруг раздвинулась завеса, отделяющая сени от атрия, и он внезапно увидел перед собой печальный облик Помпонии Грецины.

Очевидно, и она узнала уже об исчезновении Лигии, и, полагая, что легче, чем Авл, добьется свидания с Актеей, пришла к ней навести справки.

Увидевши Виниция, она обратила к нему свое бледное с мелкими очертаниями лицо и сказала:

– Марк, да простит тебе Бог обиду, нанесенную тобою нам и Лигии.

Он стоял, опустив голову, чувствуя себя глубоко несчастным и виновным, не понимая, какой бог может его простить и почему Помпония говорит о прощении, когда должна бы говорить о мести.

Затем он наконец ушел, терзаемый горестными думами, отчаянием и недоумением.

На дворе и в галерее тревожно теснились толпы людей. Среди дворцовых рабов сновали римские всадники и сенаторы, явившиеся узнать о состоянии здоровья маленькой Августы и вместе с тем показаться во дворце и засвидетельствовать о своей преданности, хотя бы в присутствии рабов цезаря. Известие о болезни «богини», по-видимому, распространилось быстро, так как в воротах появлялись все новые посетители, а в отверстии арки виднелись целые толпы.

Некоторые из вновь прибывших, видя, что Виниций вышел из дворца, обращались к нему с расспросами, но он, не отвечая, быстро шел своим путем, пока Петроний, также поспешивший собрать сведения, не задержал его, едва не опрокинув грудью.

Виниций, несомненно, впал бы в неистовство при виде Петрония и произвел бы какое-либо бесчинство во дворце цезаря, если бы не вышел от Актеи совершенно разбитым; он чув-

ствовал себя столь подавленным и изнуренным, что на время отстранился даже от своей врожденной запальчивости.

Виниций отстранил, однако, Петрония и хотел отойти, но тот задержал его насильно.

– Как чувствует себя божественная? – спросил он.

Но эта насильственная остановка снова раздражила Виниция и мгновенно возбудила его гнев.

– Пусть ад поглотит ее и весь этот дом, – ответил он, скрежеща зубами.

– Молчи, несчастный! – сказал Петроний и, осмотревшись вокруг, торопливо добавил: – Если хочешь узнать кое-что о Лигии, следуй за мной. Нет, здесь я ничего не скажу! Ступай за мной, я сообщу тебе мои догадки в носилках.

Обняв рукой молодого человека, он как можно скорее вывел его из дворца.

Он главным образом и добивался этого, так как не имел никаких новых известий о Лигии. Однако, будучи человеком сообразительным и, несмотря на вчерашнее свое возмущение, весьма сочувствуя Виницию, кроме того, чувствуя себя в некоторой степени ответственным за все происшедшее, Петроний принял уже некоторые меры. Когда они сели в носилки, он сказал:

– Я приказал моим рабам сторожить у всех ворот, снабдив их подробными приметами девушки и того великана, который вынес ее с пира у цезаря, так как не может быть сомнения, что это он отбил ее от твоих рабов. Выслушай меня! Быть может, Авл и Помпония вздумают спрятать ее в одном из своих поместий, в таком случае мы узнаем, в какую сторону ее увели. Если же ее не заметят у ворот, это послужит доказательством, что она осталась в городе, и мы сегодня же начнем разыскивать в Риме.

– Авл и Помпония не знают, куда она делась, – ответил Виниций.

– Уверен ли ты в этом?

– Я видел Помпонию. Они также ищут ее.

– Вчера она не могла выбраться из города, потому что на ночь ворота запираются. У каждых ворот караулят двое моих рабов. Один из них должен пойти по следам Лигии и великана, а другой сейчас же вернется, чтобы сообщить мне. Если они в Риме, мы найдем их, потому что этого лигийца нетрудно узнать хотя бы по росту и плечам. Твое счастье, что ее похитил не цезарь, но я могу тебя уверить, что овладел Лигией не он, потому что мне известны все тайны Палатинского дворца.

Виниций разразился не столько гневным, сколько горестным порывом: он передавал Петронию прерывающимся от волнения голосом обо всем, что слышал от Актеи. Он рассказал, какие новые ужасные опасности угрожают Лигии: найдя беглецов, придется как можно тщательнее скрывать их от Поппеи. Затем Виниций с горечью стал упрекать Петрония за его советы. Если бы не он, все пошло бы иначе. Лигия находилась бы в доме Авла, Виниций мог бы видеться с нею ежедневно и был бы теперь счастливее цезаря. Распалая своими собственными словами, он все более волновался, так что, наконец, слезы скорби и озлобления полились из его глаз.

Петроний, не предполагавший, что молодой трибун может любить и увлекаться страстью до такой степени, видя эти слезы, невольно подумал с некоторым удивлением:

«О, могущественная владычица Кипра! Ты одна господствуешь над бессмертными богами!»

II

Когда они вышли из носилок перед домом Петрония, надсмотрщик над атрием сообщил им, что ни один из рабов, посланных к воротам, еще не вернулся. Он распорядился отнести им

пищу и подтвердить, под страхом бичевания, приказ – внимательно следить за всеми, выходящими из города.

– Видишь, – сказал Петроний, – они, очевидно, находятся еще в городе, а в таком случае мы отыщем их. Прикажи, однако, и своим людям наблюдать за городскими воротами, пошли тех именно рабов, которые сопровождали Лигию: они легко распознают ее.

– Я приказал сослать их в мои поместья, – ответил Виниций, – но я сейчас же отменю мое распоряжение, пусть они идут к воротам.

Начертив несколько слов на покрытой слоем воска табличке, он отдал записку Петронии, который приказал немедленно отослать ее в дом Виниция.

Затем они прошли во внутренний портик; севши там на мраморной скамье, они стали беседовать. Златокудрые Эвника и Ирада подали им под ноги бронзовые скамеечки и, придвинув к скамье стол, принялись наливать в чаши вино из прекрасных кувшинов с узкими горлышками, привозившихся из Волатерра и Цецины.

– Знает ли кто-нибудь из твоих рабов этого огромного лигийца? – спросил Петроний.

– Его знали Атицин и Гулон. Но Атицин пал вчера у носилок, а Гулона убил я сам.

– Мне жаль его, – сказал Петроний. – Он вынянчил на своих руках не только тебя, но и меня.

– Я даже хотел дать ему свободу, – возразил Виниций, – но не стоит говорить об этом. Поговорим о Лигии. Рим – это море...

– Жемчужин вылавливают именно из моря. Мы, конечно, не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но в конце концов непременно отыщем. Ты пеняешь на меня теперь, что я посоветовал тебе прибегнуть к этому средству, но средство само по себе было хорошим, сделалось же оно дурным лишь после того, как условия сложились неблагоприятно. Притом ты же слышал от самого Авла, что он намеревался со всем семейством перебраться в Сицилию. Таким образом, Лигия все равно была бы далеко от тебя.

– Я поехал бы за ними, – возразил Виниций, – и, во всяком случае, она была бы в безопасности, теперь же, если этот ребенок умрет, Пoppея и сама поверит, и внушит цезарю, что это случилось по вине Лигии.

– Ты прав. Это встревожило и меня. Но эта маленькая кукла может еще выздороветь. Если же она и умрет, мы все-таки придумаем какой-нибудь способ. – Петроний, подумав немного, продолжал: – Пoppея, как говорят, исповедует веру иудеев и верит в злых духов. Цезарь суеверен... Если мы распространим слух, что Лигию унесли злые духи, этому все поверят, – тем более что она, если ее не захватили ни цезарь, ни Авл Плавций, в самом деле исчезла загадочным образом. Лигиец без чужой помощи не мог бы сделать этого. Очевидно, ему помогли; но каким образом раб в течение одного дня мог собрать столько людей?

– Рабы оказывают поддержку друг другу во всем Риме.

– И Рим когда-нибудь кроваво поплатится за это. Да, они действуют заодно, но не во вред другим рабам, – а в этом случае понятно, что на твоих слуг падет ответственность и что они понесут наказание. Если ты внушишь своим рабам мысль о злых духах, они тотчас же подтвердят, что видели их собственными глазами, и это сразу оправдает рабов перед тобою... Спроси любого из них, не видал ли он, как Лигия взлетела на воздух, – раб поклянется щитом Зевса, что так именно и было.

Виниций, который также был суеверен, посмотрел на Петронию испуганным и удивленным взором.

– Если Урс не мог созвать рабов на подмогу и не отважился бы отбивать Лигию один, так кто же, в самом деле, похитил ее?

Петроний засмеялся.

– Вот видишь, – сказал он, – как же они не поверят, если ты сам уже почти поверил? Таков наш свет, глумящийся над богами. Все поверят и не станут искать ее, а мы тем временем скроем Лигию подальше от Рима, в какой-нибудь моей или твоей вилле.

– Однако же кто мог оказать ей помощь?

– Ее единоверцы, – ответил Петроний.

– Какие единоверцы? Какому божеству она поклоняется? Мне следовало бы знать это лучше, чем тебе.

– Почти каждая римлянка чтит иное божество. Несомненно, что Помпония воспитала Лигию в преклонении перед тем божеством, которому сама поклоняется, а какому божеству она поклоняется – мне неизвестно. Известно лишь одно: никто не видел, чтобы она приносила жертвы богам в каком-либо из наших храмов. Ее обвиняли даже в том, что она стала христианкой, но допустить это невозможно. Тайное следствие сняло с нее это обвинение. О христианах говорят, что они не только поклоняются ослиной голове, но и ненавидят человечество, не гнушаясь самыми возмутительными преступлениями. Следовательно, Помпония не может быть христианкой, так как славится своей добродетелью, а человеконенавистница не обращалась бы столь милостиво с невольниками, как она.

– Ни в одном доме не обращаются с ними так, как у Авла, – подтвердил Виниций.

– Помпония упомянула при мне о каком-то боге, который, по ее мнению, един, всемогущ и милосерд. Куда девала она остальных богов, это ее дело, но этот ее «Логос» или не так уж всемогущ, или, вернее, был бы довольно жалким богом, если бы ему поклонялись только две женщины, то есть Помпония и Лигия, с их Урсом в придачу. Верующих в него должно быть больше – и они-то оказали помощь Лигии.

– Их вера предписывает прощать, – сказал Виниций. – Я встретил Помпонию у Актеи, и она сказала мне: «Пусть Бог простит тебе обиду, нанесенную тобою Лигии и нам».

– По-видимому, их бог – какой-то весьма благосклонный попечитель. Ну, что ж, пусть он простит тебя и в доказательство своего прощения возвратит тебе девушку.

– Я принес бы ему завтра же в жертву гекатомбу. Я не хочу ни пищи, ни ванн, ни сна. Надену темный дождевой плащ и отправлюсь скитаться по городу. Быть может, переодетым найду ее. Я болен.

Петроний посмотрел на него с некоторым состраданием. Под глазами Виниция, действительно, темнела синева, зрачки лихорадочно блестели, необритая поутру борода оттенила синеватой полосой выдавшиеся челюсти, волосы были всклокочены – он выглядел в самом деле больным. Ирада и златокудрая Эвника также смотрели на него с состраданием, но он, казалось, не замечал их; и он и Петроний столь же мало обращали внимания на присутствие рабынь, как будто возле них вертятся собаки.

– У тебя жар, – заметил Петроний.

– Да.

– Выслушай же меня... Я не знаю, какое средство прописал бы тебе врач, но я знаю, как поступил бы я на твоём месте: в ожидании, пока отыщется Лигия, я поискал бы в другой возмещения утраты. Я видел в твоём доме прекрасные тела. Не возражай мне... Я знаю, что такое любовь, понимаю, что когда страсть внушена одной, другая не может заменить ее. Но красивая рабыня все-таки может доставить хоть временное развлечение...

– Не хочу! – ответил Виниций.

Но Петроний, питавший к нему искреннее расположение и действительно желавший облегчить его страдания, стал придумывать, как бы сделать это.

– Быть может, твои рабыни не представляют для тебя прелести новизны? – сказал он и, посмотрев несколько раз то на Ираду, то на Эвнику, положил руку на бедро златокудрой гречанки, – но взгляни на эту нимфу. Несколько дней тому назад молодой Фонтей Капитон предлагал мне в обмен за нее трех прелестных мальчиков из Клазомен – прекраснейшего тела

не изваял, пожалуй, и Скопас. Я сам не понимаю, почему до сих пор остался равнодушным к ней, не ради же Хризотемиды воздержался я! И вот я дарю тебе ее, возьми ее себе!

Златокудрая Эвника, услышав эти слова, мгновенно побледнела как полотно; устремив испуганные взоры на Виниция, она, казалось, обмерла, ожидая его ответа.

Но молодой воин порывисто вскочил со скамьи и, сжав руками виски, заговорил торопливо, как человек, который, терзаемый болезнью, не хочет слышать никаких увещаний:

– Нет, нет!.. К чему мне она, к чему мне все иные женщины... Благодарю тебя, но я отказываюсь! И иду разыскивать по городу Лигию. Прикажи подать галльский плащ с капюшоном. Я пойду на ту сторону Тибра. О, если бы мне удалось увидеть хоть Урса!

Воскликнув это, он быстро удалился. Петроний, убедившись, что Виниций в самом деле не в силах усидеть на месте, не старался удержать его. Приняв, однако, отказ молодого человека за проявление временного отвращения ко всем женщинам, кроме Лигии, и не желая быть щедрым лишь на словах, он сказал, обращаясь к рабыне:

– Эвника, выкупайся, умастись благовониями, оденься и ступай в дом Виниция.

Гречанка упала перед ним на колени и, простирая руки, стала умолять, чтобы он не удалял ее из дома. Она не пойдет к Виницию, она предпочитает носить здесь дрова в гипокауст, чем быть там первой между слугами. Она не хочет, не может! И умоляет его сжалиться над нею. Пусть он прикажет бичевать ее хоть ежедневно, лишь бы только не отсылал ее из дома.

Эвника, дрожа как лист от страха и вместе с тем восторженного возбуждения, простирала к нему руки, а он с изумлением слушал ее. Рабыня, осмеливающаяся отвечать мольбами на приказание, заявляющая: «Я не хочу и не могу», – была явлением столь неслыханным в Риме, что Петроний почти не верил своим ушам. Наконец брови его сдвинулись. Он был слишком изысканным, чтобы снизойти до жестокости. Рабам его предоставлялось больше свободы, чем всем другим, особенно в отношении разврата, от них требовалось только, чтобы они образцово прислуживали и волю господина чтили наравне с божьей. Однако когда рабы нарушали одно из этих двух требований, Петроний, не задумываясь, подвергал их обычным наказаниям. Кроме того, он не выносил противоречий и всего, что нарушало его спокойствие; посмотрев поэтому на коленопреклоненную рабыню, он сказал ей:

– Позови ко мне Тирезия и возвратись вместе с ним.

Эвника встала, дрожа, со слезами на глазах, и ушла; вскоре она вернулась с надсмотрщиком над атрием, критянином Тирезием.

– Возьми Эвнику, – сказал ему Петроний, – и дай ей двадцать пять ударов, но так, однако, чтобы не испортить кожи.

Затем он удалился в библиотеку и, сев к столу из розового мрамора, принялся работать над своим «Пиром Тримальхиона».

Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы слишком отвлекали его мысли, так что он поработал недолго. Особенно важным событием казалась ему болезнь. Петроний сообразил, что если цезарь поверит в околдование Лигией маленькой Августы, ответственность может пасть и на него, так как девушку препроводили во дворец по его просьбе. Он надеялся, однако, что при первом же свидании с цезарем сумеет каким-нибудь образом объяснить ему всю нелепость подобного предположения; он рассчитывал отчасти и на некоторую слабость, которую питала к нему Пoppея, – хотя она и старалась тщательно скрыть это чувство, тем не менее Петроний успел догадаться. Подумав немного, он пожал плечами, убедившись в неосновательности своих опасений, и решил спуститься в триклиний, позавтракать и затем приказать отнести себя еще раз во дворец, а потом на Марсово поле и к Хризотемиде.

Идя в триклиний, у входа в коридор, предназначенный для слуг, Петроний заметил среди других рабов стройную фигуру Эвники и, забыв, что приказал Тирезию лишь высечь ее, снова сдвинул брови и стал оглядываться, ища его.

Не найдя Тирезия среди прислуги, он обратился к Эвнике:

– Высекли ли тебя?

Она вторично бросилась к его ногам, приложила к устам край его тоги и ответила:

– О да, господин! Меня наказали, о да, господин!

В голосе ее звучали радость и благодарность. Она, очевидно, полагала, что наказание должно заменить удаление ее из дома и что теперь она может уже остаться. Петроний, который понял это, удивила упорная настойчивость рабыни; он был слишком проникательным знатоком человеческой души, чтобы не догадаться, что одна лишь любовь могла быть причиной такого упорства.

– У тебя есть любовник в этом доме? – спросил он.

Она подняла на него свои голубые, влажные от слез, глаза и ответила так тихо, что едва можно было расслышать:

– Да, господин!..

Эвника, с ее чудными глазами, с зачесанными назад золотыми волосами, с выражением боязни и надежды в лице, была так прекрасна, смотрела на него таким молящим взором, что Петроний, который, как философ, сам провозглашал могущество любви и в качестве эстетика почитал всякую красоту, почувствовал к рабыне некоторую жалость.

– Который из них твой возлюбленный? – спросил он, указывая головой на рабов.

Но вопрос его остался без ответа. Эвника безмолвно склонила лицо к самым ногам его и замерла как изваяние.

Петроний осмотрел рабов, между которыми были красивые и статные юноши, но ни одно лицо ничего не объяснило ему; он увидел лишь на всех устах какие-то странные улыбки. Посмотрев еще раз на лежащую у его ног Эвнику, он молча удалился в триклиний.

Позавтракав, он приказал отнести себя во дворец, а оттуда к Хризотемиде, у которой пробыл до поздней ночи. По возвращении домой он призвал к себе Тирезия.

– Наказал ли ты Эвнику?

– Да, господин. Ты не позволил, однако, повредить ей кожу.

– Не отдал ли я еще какого-нибудь приказа?

– Нет, господин, – тревожно ответил Тирезий.

– Хорошо. Кто из рабов стал ее любовником?

– Никто, господин.

– Что ты знаешь про нее?

Тирезий заговорил неуверенным голосом:

– Эвника никогда не уходит ночью из кубикла, в котором спит вместе со старою Акризионой и Ифидой; после твоего купанья она никогда не остается в бане... Другие рабыни смеются над нею и называют ее Дианой.

– Довольно, – сказал Петроний. – Мой родственник Виниций, которому я подарил сегодня утром Эвнику, не принял ее, следовательно, она останется дома. Можешь уйти.

– Дозволишь ли мне, господин, сказать еще несколько слов об Эвнике?

– Я приказал тебе сообщить все, что ты знаешь о ней.

– Господин, вся челядь говорит о бегстве девушки, которая должна была поселиться в доме благородного Виниция. После твоего ухода Эвника пришла ко мне и сказала, что знает человека, который сумеет отыскать эту девушку.

– Что это за человек? – спросил Петроний.

– Я не знаю его, господин, я думал, однако, что должен тебе сообщить об этом.

– Хорошо. Пусть этот человек ожидает завтра в моем доме прибытия трибуна, которого ты попросишь от моего имени поутру посетить меня.

Тирезий поклонился и вышел.

Петроний невольно стал думать об Эвнике. Сначала ему представилось вполне ясным, что молодая рабыня хочет, чтобы Виниций нашел Лигию только потому, чтобы не быть вынуж-

денной заменить ее в доме трибуна. Но потом ему пришло в голову, что человек, воспользоваться услугами которого предлагает Эвника, может быть, ее любовник, и это предположение показалось ему вдруг неприятным. Проверить его было, конечно, не трудно: стоило только приказать, чтобы позвали Эвнику, но время было уже позднее, Петроний чувствовал себя утомленным после продолжительного пребывания у Хризотемиды и его клонило ко сну. Идя в спальню, он припомнил, однако, неизвестно почему, что в углах глаз Хризотемиды подметил сегодня морщинки. Он подумал, кроме того, что в действительности она далеко не такая красавица, какою слывет в Риме, и что Фонтей Капитон, предлагавший трех мальчиков из Клазомен за Эвнику, хотел купить ее, однако, слишком дешево.

III

На следующий день, едва только Петроний успел одеться в унктуарие, как пришел приглашенный Тирезием Виниций. Он знал уже, что от городских ворот не получено никаких новых сведений, и известие это, вместо того чтобы порадовать трибуна, как доказательство, что Лигия находится в Риме, еще более огорчило его, так как он стал предполагать, что Урс мог вывести ее из города немедленно после похищения и, следовательно, раньше, чем рабы Петрония были посланы сторожить у ворот. Положим, осенью, когда дни становились короче, ворота запирали довольно рано, но их также и отпирали для уезжающих, число которых бывало довольно значительно. За городские стены можно было выбраться и другими путями, которые были, например, хорошо известны рабам, желавшим бежать из Рима. Виниций разослал на все дороги, ведущие в провинцию, своих слуг, поручив им раздать начальникам стражи заявления о двух беглых рабах, с подробными приметами Урса и Лигии и назначением наград за их поимку. Представлялось, однако, сомнительным – настигнет ли исчезнувших эта погоня, а если настигнет, сочтут ли местные власти возможным задержать беглецов на основании частного требования, не засвидетельствованного претором. Между тем засвидетельствовать свои заявления Виниций не успел. Сам он весь вчерашний день отыскивал Лигию по всем закоулкам города, переодевшись рабом, но не нашел ни малейшего следа или указания. Он встречал лишь рабов Авла, но те, по-видимому, также чего-то искали, – и это подтвердило предположение, что похитили Лигию не Авл и Помпония и что они также не знают, что случилось с нею.

Когда Тирезий сообщил, что нашелся человек, берущийся отыскать Лигию, Виниций бросился опростеть к дому Петрония и, едва поздоровавшись с ним, принялся расспрашивать про этого человека.

– Мы сейчас увидим его, – сказал Петроний. – Это один знакомый Эвники, которая сейчас придет собирать складки моей тоги и сообщит нам о нем более подробные сведения.

– Та рабыня, которую ты вчера хотел подарить мне?

– Та, от которой ты вчера отказался, за что я, впрочем, признателен тебе, потому что во всем городе нет лучшей «одевальщицы».

Эвника вошла, едва он произнес эти слова, и, взяв лежавшую на кресле, отделанном слоновой костью, тогу, развернула ее, чтобы набросить на плечи Петрония. Кроткое лицо ее прояснилось, в глазах светилась радость.

Петроний посмотрел на нее, и она показалась ему прелестной. Когда, облачив его в тогу, она принялась собирать складки, наклоняясь иногда для расправления их, он заметил, что руки Эвники отливают дивным бледно-розовым оттенком, а грудь и плечи – прозрачным отблеском перламутра или алебаstra.

– Эвника, – сказал он, – пришел ли тот человек, о котором ты говорила вчера Тирезию?

– Да, господин.

– Как зовут его?

– Хилоном Хилонидом, господин.

– Кто он такой?

– Лекарь, мудрец и предвещатель, умеющий читать в книге человеческих судеб и предсказывать будущее.

– Предсказал ли он будущее тебе?

Эвника вспыхнула, даже уши и шея ее порозовели от внезапно набежавшего румянца.

– Да, господин.

– Что же он предсказал тебе?

– Что меня ожидают огорчение и счастье.

– Огорчение нанесено тебе вчера рукою Тирезия, следовательно, должно исполниться и предсказание о счастье.

– Оно уже исполнилось, господин.

– В чем же состоит это счастье?

Она чуть слышно прошептала:

– Я осталась.

Петроний положил руку на ее златокудрую голову.

– Ты хорошо собрала сегодня складки, и я доволен тобою, Эвника.

Когда его рука прикоснулась к молодой гречанке, глаза ее мгновенно подернулись дымкой блаженства и грудь порывисто заколебалась.

Петроний с Виницием перешли в атрий, где ожидал их Хилон Хилонид, который, увидев их, отвесил низкий поклон. Петроний невольно улыбнулся, вспомнив о своем вчерашнем предположении, что это, быть может, любовник Эвники.

Человек, стоявший перед ним, не мог быть ничьим любовником. В его странной наружности было что-то и отвратительное и смешное. Он не был стар: в его неопрятной бороде и курчавых волосах лишь кое-где просвечивала седина. Живот он имел впалый, плечи – сгорбленные, так что на первый взгляд казался горбатым, а над этим горбом возвышалась большая голова с лицом обезьяньим и вместе с тем с лисьими пытливыми глазами. Желтоватая кожа его лица была испещрена прыщами, а сплошь покрытый ими нос свидетельствовал о чрезмерном пристрастии к бутылке. Небрежная одежда, состоящая из темной туники, вытканной из козьей шерсти, и такого же дырявого плаща, говорила о действительной или притворной нужде.

Петронию при виде его вспомнился гомеровский Терсит; ответивши поэтому склонением руки на поклон Хилона, он сказал:

– Приветствую тебя, божественный Терсит: что поделывают твои шишки, которыми наградил тебя под Троей Улисс, и как поживает он сам на Елисейских полях?

– Благородный господин, – ответил Хилон Хилонид, – мудрейший из умерших, Улисс, посылает через мое посредство мудрейшему из живущих, Петронию, свой привет и просьбу, чтобы ты одел новым плащом мои шишки.

– Клянусь Гекатой, – воскликнул Петроний, – ответ стоит плаща!

Нетерпеливый Виниций прервал дальнейший разговор, приступив прямо к делу. Он спросил Хилонида:

– Достаточно ли ознакомился ты с задачей, за которую берешься?

– Не трудно узнать, в чем дело, – ответил Хилон, – когда две фамилии двух знатных домов не говорят ни о чем другом, а вслед за ними повторяет известие половина Рима. Вчера ночью похищена девушка, воспитанная в доме Авла Плавция, по имени Лигия или, точнее, Каллина, которую твои рабы, господин, препровождали из дворца цезаря в твой дом. Я берусь отыскать ее в Риме, или, если, – что представляется маловероятным, – она удалилась из города, указать тебе, благородный трибун, куда она убежала и где скрывается.

– Хорошо, – сказал Виниций, которому понравилась сжатость ответа, – какими же средствами располагаешь ты для этого?

Хилон лукаво усмехнулся:

– Средствами обладаешь ты, господин, – я имею только ум.

Петроний также улыбнулся, так как остался вполне доволен своим гостем.

«Этот человек может отыскать девушку», – подумал он.

Тем временем Виниций сдвинул свои сросшиеся брови и сказал:

– Если ты меня обманываешь ради наживы, я прикажу насмерть заколотить тебя палками.

– Я – философ, господин, а философ не может льститься на наживу, в особенности на ту, которую ты великодушно обещаешь.

– Как, ты философ? – спросил Петроний. – Эвника сказала мне, что ты лекарь и гадатель.

Как ты познакомился с Эвникой?

– Она приходила ко мне за советом, так как слава моя дошла до ее ушей.

– Какого же совета просила она?

– Касательно любви, господин. Она хотела излечиться от несчастной любви.

– И ты исцелил ее?

– Я сделал больше, господин, так как дал ей амулет, обеспечивающий взаимность. В Пафосе, на острове Кипре, есть храм, в котором хранится перевязь Венеры. Я дал ей две нити из этой перевязи, заключив их в скорлупу миндаля.

– И, конечно, ты взял хорошую цену?

– За взаимность никогда нельзя заплатить достаточно, я же, лишенный двух пальцев на правой руке, коплю деньги на покупку невольника-писца, который записывал бы мои мысли и сохранил бы мое учение для мира.

– К какой же школе принадлежишь ты, божественный мудрец?

– Я киник, потому что ношу дырявый плащ, я стоик, потому что терпеливо переношу нужду, а перипатетик я потому, что, не имея носилок, хожу пешком от виноторговца к виноторговцу и по дороге поучаю тех, которые обещают заплатить за жбан.

– А за жбаном вина ты становишься ритором?

– Гераклит сказал: «Все течет», – а станешь ли ты отрицать, господин, что вино есть жидкость?

– Он учил, что огонь есть божество, и это божество пылает на твоём носу.

– А божественный Диоген из Аполлонии учил, что мир создан из воздуха, и чем теплее воздух, тем совершеннее порождаемые им существа, а из самого горячего воздуха рождаются души мудрецов. А так как осенью наступают холода, – ergo, истинный мудрец должен согревать душу вином... потому что ты также не станешь утверждать, господин, что жбан, хотя бы поливая из окрестностей Капуи или Телезии, не разливает теплоты по всем костям брэнного человеческого тела.

– Где твоя родина, Хилон Хилонид?

– Над Эвксинским Понтом. Я родом из Мезембрии.

– Ты велик, Хилон!

– И непризнан! – меланхолически добавил мудрец.

Терпение Виниция снова истощилось. Прельстившись блеснувшей ему надеждой, он хотел, чтобы Хилон тотчас же приступил к поискам, и весь этот разговор показался ему лишь бесполезной потерей времени, за которую он досадовал на Петрония.

– Когда начнешь ты розыски? – сказал он, обращаясь к греку.

– Я уже принялся за них, – ответил Хилон. – Находясь здесь и отвечая на твои благосклонные вопросы, я также ищу. Доверься мне, благородный трибун, и знай, что, если бы ты потерял ремень от обуви, я сумел бы найти ремень или того человека, который поднял его на улице.

– Случалось ли уже тебе исполнять подобные поручения? – спросил Петроний.

Грек возвел глаза к небу.

– Слишком низко ценят нынче добродетель и мудрость, чтобы даже философ не был принужден искать иных средств к пропитанию.

– Какими же средствами пользуешься ты?

– Я стараюсь разузнавать обо всем и снабжаю новостями всех, которые их желают.

– И которые за них платят?

– Ах, господин, мне надо купить писца, не то моя мудрость умрет вместе со мною.

– Если ты не скопил еще денег на новый плащ, заслуги твои, очевидно, не особенно замечательны.

– Скромность не позволяет мне рассказывать о них. Но прими в соображение, господин, что теперь перевелись такие благодетели, которым в прежние времена не было счета и которым осыпать человека золотом за услугу было столь же приятно, как проглотить устрицу из ПUTEОЛИ. Ничтожны не заслуги мои, а людская благодарность. Если сбежит дорогой раб, кто отыщет его, как не единственный сын моего отца? Когда на стенах появятся надписи против божественной ПОППЕИ, кто обнаружит виновных? Кто разнюхает, что у книготорговцев появились стихи на цезаря? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и патрициев? Кто передаст письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюльников, для кого не имеют тайн виноторговцы и помощники пекарей, кому доверяются рабы, кто умеет осмотреть любой дом напролет, от атрия до сада? Кто знает все улицы, переулки, тайные при-тоны, кто знает, что говорится в банях, в цирке, на рынках, в гимнастических школах, в сараях, у работоторговцев и даже в аренах.

– Ради богов! Довольно, благородный мудрец! – воскликнул Петроний. – Не то мы потонем в твоих заслугах добродетели, мудрости и красноречия. Довольно! Мы хотели узнать, что ты за человек, и узнали!

Виниций обрадовался: он подумал, что этот человек, пущенный по следу, как гончая собака, не остановится, пока не отыщет тайника.

– Хорошо, – сказал он, – нужны ли тебе указания?

– Мне нужно оружие.

– Какое оружие? – спросил с удивлением Виниций.

Грек подставил одну ладонь, а другой рукой показал, будто отсчитывает деньги.

– Такие уж теперь времена, – сказал он со вздохом.

– Значит, ты превратишься в осла, овладевающего крепостью при помощи мешков с золотом? – заметил Петроний.

– Я останусь лишь бедным философом, господин, – смиренно ответил Хилон, – золото имеете вы.

Виниций бросил ему кошелёк; грек подхватил его на лету, хотя действительно на правой руке его недоставало двух пальцев.

Затем он поднял голову и сказал:

– Господин, я знаю уже больше, чем ты ожидаешь. Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не Авл и его супруга, так как я уже расспросил их рабов. Я знаю, что ее нет в Палатинском дворце, где все заняты заболевшей маленькой Августой, и, быть может, я даже догадываюсь, почему вы предпочитаете искать девушку при моем посредстве, а не с помощью стражи и воинов цезаря. Я знаю, что бегству ее содействовал слуга, происходящий из той же страны, где родилась и она. Он не мог найти пособников среди рабов, потому что невольники, действующие всегда сообща, не оказали бы ему поддержки во вред твоим рабам. Ему могли помочь только единоверцы...

– Послушай, Виниций, – прервал Петроний, – не говорил ли я тебе слово в слово то же самое?

– Я считаю это за честь для себя, – сказал Хилон. – Девушка, господин, – продолжал он, обращаясь снова к Виницию, – несомненно, поклоняется тому же божеству, которое чтит

Помпония, – эта добродетельнейшая из римлянок, истинная матрона «*stolatas*». Слышал я и о том, что Помпонию тайно судили за поклонение каким-то иноземным божествам, но мне не удалось выведать от слуг, что это за божества и как называются поклоняющиеся им. Если бы я узнал это, я обратился бы к ним, сделался бы самым набожным среди них и заручился бы их доверием. Но ты, господин, как мне известно также, провел несколько недель в доме благородного Авла. Не можешь ли ты дать мне какие-нибудь сведения об этом?

– Не могу, – ответил Виниций.

– Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, благородные господа, и я отвечал на вопросы, – позвольте же теперь мне расспросить вас. Не видел ли ты, благородный трибун, каких-либо статуэток, жертв, знаков или амулетов на Помпонии или на твоей божественной Лигии? Не заметил ли ты, что они чертят какие-либо изображения, понятные только для них?

– Постой!.. Да, я видел однажды, что Лигия начертила на песке рыбу.

– Рыбу? А-а! О-о-о! Сделала ли она это один раз, или повторила неоднократно?

– Только один раз.

– И ты уверен, господин, что она начертила рыбу?

– Да, я уверен в этом! – ответил заинтересованный Виниций. – Догадываешься ли ты, что это означает?

– Еще бы я не догадался! – воскликнул Хилон.

Поклонившись, он добавил в виде прощального приветствия:

– Пусть Фортуна осыплет вас поровну всеми дарами, благородные господа.

– Прикажи дать себе плащ! – сказал ему на дорогу Петроний.

– Улисс благодарит тебя за Терсита, – отвечал грек.

И, поклонившись еще раз, он вышел из атрия.

– Что же скажешь ты об этом благородном мудреце? – спросил Виниция Петроний.

– Скажу, что он отыщет Лигию! – радостно воскликнул Виниций, – но добавлю, что если бы существовало царство плутов, он мог бы быть царем его.

– Несомненно. Я должен поближе познакомиться с этим стойком, а пока прикажу освежить курением атрий.

А Хилон Хилонид, задрапировавшись в новый плащ, побрякивал под его складками полученным от Виниция кошельком, радуясь как тяжести его, так и звонкости. Идя неторопливо и оглядываясь, не следят ли за ним из дома Петрония, он миновал портик Ливии и, добравшись до угла *Clibus Virbius*³⁰, свернул в Субурру.

«Надо зайти к Спору, – рассуждал он сам с собой, – и совершить легкое возлияние вином Фортуне. Я нашел наконец то, чего искал издавна. Он молод, вспыльчив, щедр, как рудники Кипра, и за эту лигийскую коноплянку готов отдать половину состояния. Следует, однако, обращаться с ним осторожно, потому что его насупленные брови не предвещают ничего хорошего. Увы, волчата господствуют ныне над миром!.. Я не так боялся бы этого Петрония. О боги, зачем посредничество оплачивается теперь лучше, чем добродетель!.. А, она начертила тебе на песке рыбу? Если я знаю, что это означает, пусть подавлюсь куском козьего сыра! Но я узнаю! А так как рыбы живут под водой и производить розыски под водой труднее, чем на суше, ergo: он заплатит мне за эту рыбу отдельно. Еще один такой кошелек, и мне можно будет забросить дедовскую котомку и купить себе раба... Но что сказал бы ты, Хилон, если бы я посоветовал тебе приобрести не раба, а рабыню?.. Я знаю тебя! Ручаюсь, что ты согласишься!.. Если бы она была красива, как, например, Эвника, ты и сам помолодел бы около нее и вместе с тем приобрел бы в ней источник честного и верного дохода. Я продал этой бедной Эвнике две нитки из моего собственного старого плаща. Она глупа, но если бы Петроний подарил мне ее, я не отказался бы... Да, да, Хилон, сын Хилона... Ты лишился отца и матери... Ты осиро-

³⁰ Вербиев склон.

тел, так купи на утешение себе хоть рабыню. Она, конечно, должна где-нибудь помещаться, следовательно, Виниций наймет для нее квартиру, в которой приютишься и ты; она должна и одеться, следовательно, Виниций заплатит за ее одежду, и должна питаться, следовательно, он будет кормить ее. Ох, как трудно жить на свете! Где те времена, когда за обол можно было купить столько бобов с солониной, сколько влезет в обе руки, или кусок козьей кишки, налитой кровью, длиною равной руке двенадцатилетнего мальчика!.. А вот и этот мошенник Спор! В лавке виноторговца легче всего навести справки».

Он вошел в винницу и приказал подать жбан «темного»; заметив недоверчивый взгляд хозяина, он вытащил золотую монету из кошелька и, положив ее на стол, сказал:

– Спор, я работаю сегодня с Сенекой от рассвета до полудня, и посмотри, чем мой приятель отдал мне на дорогу.

Круглые глаза Спора при виде монеты сделались еще более круглыми. Вино мгновенно появилось перед Хилоном, который, обмакнув в него палец, начертил на столе рыбу и сказал:

– Знаешь, что это означает?

– Рыба? Рыба и есть – рыба!

– Ты глуп, хотя и разбавляешь вино таким количеством воды, что в нем могла бы оказаться и рыба. Это – символ, на языке философов означающий: «улыбка Фортуны». Если бы ты разгадал, быть может, и ты добился бы счастья. Смотри, почитай философию, не то я перемену винницу, к чему давно уже склоняет меня мой близкий друг Петроний.

IV

В течение нескольких дней Хилон нигде не показывался. Виниций, узнав от Актеи, что Лигия любит его, во сто крат пламеннее желал отыскать молодую девушку. Он приступил к поискам собственными силами, так как не желал, да и не мог просить помощи у цезаря, внимание которого всецело было поглощено опасной болезнью маленькой Августы.

Ей не помогли ни жертвы, принесенные в храмах, ни молитвы и обеты, ни искусство врачей и всевозможные чудодейственные средства, к которым прибегнули, когда исчезла последняя надежда на выздоровление. Через неделю девочка умерла. Римский двор и столица облеклись в траур. Цезарь, при рождении ребенка безумствовавший от радости, безумствовал теперь от горя; замкнувшись в своих покоях, он целых два дня не принимал пищи. Во дворце толпились сенаторы и августианцы, спешившие выразить свое горе и соболезнование, но Нерон не хотел никого видеть. Сенат собрался на чрезвычайное заседание, на котором умершая девочка была провозглашена богиней; сенаторы решили посвятить ей храм и назначить для служения новой богине особого жреца. В других храмах также приносились жертвы в честь умершей; ее статуи отливались из драгоценных металлов, а погребению была придана беспрецедентная торжественность. Народ удивлялся необузданным проявлениям скорби, которой предавался цезарь, плакал вместе с ним, протягивал руки к подачкам и в особенности тешился необычным зрелищем.

Смерть маленькой Августы встревожила Петронию. Весь Рим узнал уже, что Пoppея приписывает ее колдовству. Слова Пoppеи усердно повторялись врачами, обрадовавшимися удобному случаю оправдать безуспешность своих усилий; вслед за ними то же самое заговорили жрецы, жертвы которых оказались бесполезными, прорицатели, дрожавшие за свою жизнь, и народ.

Петроний радовался теперь, что Лигия скрылась; так как он, в сущности, не желал зла семье Авла, а себе и Виницию желал добра, то, как только убрали кипарис, посаженный в знак траура перед Палатинским дворцом, он отправился на прием, устроенный для сенаторов и августианцев, чтобы убедиться, насколько Нерон верит известию о чародействе, и предотвратить последствия, которые могли бы из этого возникнуть.

Петроний, зная Нерона, допускал, что он, хотя бы даже не верил в колдовство, будет притворяться, что верит, чтобы обмануть свое собственное горе и выместить его на ком-нибудь, а главное – предупредить толки о том, что боги начинают карать его за преступления. Петроний не думал, чтобы цезарь мог искренно и глубоко любить даже собственное свое дитя, хотя он проявлял страстную привязанность к нему. Петроний не сомневался, что Нерон, во всяком случае, будет преувеличивать свое горе. И, действительно, он не ошибся. Нерон выслушивал утешения сенаторов и всадников с окаменелым лицом, устремив глаза в одну точку; видно было, что если он в самом деле страдает, то в то же время думает и о том, какое впечатление производит его отчаяние на окружающих. Нерон разыгрывал роль Ниобеи, точно актер, изображающий на сцене олицетворение родительской скорби. Он не сумел, однако, как бы окаменеть в безмолвном горе, по временам он то делал жесты, точно посыпая голову прахом, то глухо стонал. Увидев Петрония, он стал восклицать с трагическим пафосом, очевидно, желая, чтобы все слышали его:

– Eheu!..³¹ Ты виновен в ее смерти! По твоему совету допущен в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди... Горе мне! Лучше бы моим глазам не смотреть на светлый лик Гелиоса... Горе мне! eheu! eheu!..

Цезарь, все повышая голос, огласил зал отчаянными воплями. Петроний мгновенно решил поставить все на один бросок костей. Протянув руку, он быстро сорвал с шеи Нерона шелковый платок, который тот носил постоянно, и приложил к губам Нерона.

– Цезарь! – торжественно произнес он, – сожги Рим, сожги с горя весь мир, но сохрани нам свой голос!

Изумились все присутствующие, ошеломлен на мгновение сам Нерон, – один только Петроний стоял невозмутимо. Он хорошо знал, что делает: Петроний не забыл, что Терпносу и Диодору был отдан приказ, не смущаясь, закрывать цезарю рот, чтобы его голос не пострадал от излишнего напряжения.

– Цезарь, – продолжал Петроний столь же внушительным и скорбным тоном, – мы понесли безмерную утрату, так пусть же останется нам в утешение хоть это сокровище!

Лицо Нерона задрожало, и вскоре из глаз его полились слезы; положив руки на плечи Петрония, цезарь вдруг преклонил голову к его груди и стал повторять сквозь слезы:

– Только ты, Петроний, вспомнил об этом, только ты, Петроний! Только ты!

Тигеллин позеленел от зависти, а Петроний снова обратился к Нерону:

– Поезжай в Анций! Там она явилась на свет, там тебя осенила радость, там снизойдет на тебя успокоение. Пусть морской воздух освежит твоё божественное горло; пусть грудь твою подышит соленой влагой. Мы, твои верные слуги, всюду последуем за тобой, и когда утолим твоё горе сочувствием, ты утетишь нас своей песней.

– Да, – жалобно ответил Нерон, – я напишу гимн в честь ее и положу его на музыку.

– А потом ты поедешь в Байи, оживишь себя лучами жаркого солнца.

– А затем поищу забвения в Греции.

– В отчизне поэзии и песен!

Тяжелое, удрученное настроение постепенно рассеивалось, подобно облакам, закрывающим солнце. Завязалась беседа, по-видимому, еще исполненная грусти, но, в сущности, оживленная замыслами о будущем путешествии; говорили о том, как будет подвизаться цезарь в качестве артиста, обсуждали празднества, которые необходимо устроить по случаю ожидаемого приезда царя Армении, Тиридата.

Тигеллин, правда, попробовал было напомнить о колдовстве, но Петроний принял вызов уже с полной уверенностью в своей победе.

– Тигеллин, – сказал он, – неужели ты думаешь, что колдовство может повредить богам?

³¹ Увы!

– О чарах говорил сам цезарь, – ответил придворный.
– Устами цезаря гласило горе, но скажи, что ты сам думаешь об этом?
– Боги слишком могущественны, чтобы на них могли влиять чары.
– Но разве ты не признаешь божественности цезаря и его родственников?
– *Peractum est!*³² – отозвался стоявший возле Эприй Марцелл, повторяя народный возглас, отмечающий в цирке, что гладиатору сразу нанесен смертельный удар.

Тигеллин затаил в себе гнев. Между ним и Петронием давно уже существовало соперничество относительно Нерона. Тигеллин превосходил Петрония в том отношении, что Нерон в его присутствии почти вовсе не стеснялся, но до сих пор Петроний при столкновениях с Тигеллином всегда побеждал его сообразительностью и остроумием.

Так случилось и теперь. Тигеллин замолчал и старался лишь твердо запомнить имена сенаторов и всадников, которые толпою окружили удалявшегося в глубь залы Петрония, полагая, что после произошедшего он, несомненно, сделается первым любимцем цезаря.

Петроний, выйдя из дворца, приказал отнести себя к Виницию; рассказав ему о столкновении с цезарем и Тигеллином, он сказал:

– Я отвратил опасность не только от Авла Плавция и Помпонию, но и от нас обоих, а, главное, – от Лигии, которую не будут разыскивать хотя бы потому, что я убедил рыжебородую обезьяну поехать в Анций, а оттуда – в Неаполь или в Вайи. Он непременно поедет, так как в Риме до сих пор не решался выступить перед публикой в театре, а я знаю, что он давно уже собирается выступить на сцене в Неаполе. Затем он мечтает о Греции, где ему хочется петь во всех главнейших городах, после чего он, со всеми венками, которые ему поднесут «*graeculi*», отпразднует триумфальный въезд в Рим. В это время мы можем без помехи искать Лигию и, если найдем, скрыть в безопасном месте. Ну а что ж, наш почтенный философ еще не приходил?

– Твой почтенный философ – обманщик. Он так и не показался, и, конечно, мы более не увидим его!

– А у меня сложилось более лестное для него представление если не о его честности, то об уме. Он однажды уже пустил кровь твоему кошельку, – будь уверен, что он придет хотя бы только для того, чтобы пустить ее еще раз.

– Пусть остерегается, как бы я сам не сделал ему кровопускания.

– Не делай этого, отнесись к нему терпеливо, пока надлежащим образом не убедишься в обмане. Не давай ему больше денег, а вместо того обещай ему щедрую награду, если он принесет тебе верные известия. Ну а что ты предпринимаешь сам по себе?

– Два мои вольноотпущенника, Нимфидий и Демас, разыскивают ее во главе шестидесяти людей. Тому из рабов, который найдет ее, обещана свобода. Кроме того, я послал нарочных на все дороги, ведущие из Рима, чтобы они расспрашивали в гостиницах о лигийце и девушке. Сам я бегаю по городу днем и ночью, надеясь на счастливый случай.

– Что бы ты ни узнал, напиши мне, так как я должен ехать в Анций.

– Хорошо.

– А если в одно прекрасное утро, встав с ложа, ты скажешь себе, что для какой-нибудь девчонки не стоит мучиться и столько хлопотать, то приезжай в Анций. Там вволю будет и женщин и утех.

Виниций стал ходить быстрыми шагами, Петроний смотрел на него некоторое время, потом сказал:

– Скажи мне откровенно, не как мечтатель, который что-то в себе таит и к чему-то себя возбуждает, а как человек рассудительный, который отвечает другу: ты все по-прежнему увлечен Лигией?

³² Готов!

Виниций на минуту остановился и так взглянул на Петрония, как будто его пред тем не видал, потом снова начал ходить. Видно было, что он сдерживает в себе неукротимый порыв. Но в глазах его от сознания собственного бессилия, от скорби, гнева и неутолимой тоски заблестели две слезы, которые сильнее говорили Петронию, чем красноречивейшие слова.

Задумавшись на минуту, он сказал:

– Не Атлас, а женщина держит мир на своих плечах, и иногда играет им, как мячиком.

– Да! – промолвил Виниций.

И они стали прощаться.

Но в эту минуту невольник дал знать, что Хилон Хилонид ожидает в прихожей и просит позволения предстать пред лицом господина.

Виниций приказал его немедленно впустить, а Петроний сказал:

– Что? Не говорил я тебе? Клянусь Геркулесом! Сохрани только спокойствие, не то он тобой овладеет, а не ты им.

– Привет и хвала сиятельному военному трибуну и тебе, господин! – сказал, входя, Хилон. – Да будет ваше счастье равным вашей славе, а слава да обежит весь свет, от Геркулевых столпов и до границ Арзацидов.

– Здравствуй, законодатель добродетелей и мудрости, – отвечал Петроний.

Но Виниций спросил с притворным спокойствием:

– Какие известия приносишь ты?

– В первый раз, господин, я принес тебе надежду, а теперь приношу уверенность в том, что девица будет найдена.

– Это значит, что ты не нашел ее?

– Да, господин, но я нашел, что значит сделанный ею рисунок: я знаю, кто эти люди, которые ее отбили, и знаю, среди поклонников какого божества следует ее искать.

Виниций хотел вскочить с кресла, на котором сидел, но Петроний положил ему руку на плечо и, обращаясь к Хилону, сказал:

– Говори дальше!

– Ты, господин, вполне уверен, что эта девица начертила на песке рыбу?

– Да! – воскликнул Виниций.

– Ну, так она – христианка, и ее отбили христиане.

Настало молчание.

– Послушай, Хилон, – сказал Петроний, – мой родственник назначил тебе за отыскание Лигии значительное вознаграждение, но и не меньшее количество розог, если ты вздумаешь его обманывать. В первом случае ты купишь себе не одного, а трех писцов, во втором же – философия всех семи мудрецов, с твоей собственной в придачу, послужит для тебя целебной мазью.

– Господин, эта девица – христианка! – воскликнул грек.

– Постой, Хилон, ты человек не глупый. Мы знаем, что Юния Силана с Кальвией Криспиниллой обвинили Помпонию Грецину в исповедовании христианского суеверия, но нам также известно, что домашний суд освободил ее от этого извета. Неужели ты хочешь теперь снова возбуждать его? Неужели ты думаешь нас убедить в том, что Помпония, а вместе с нею Лигия могут принадлежать к врагам человеческого рода, к отравителям источников и колодезцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей и предаются грязнейшему разврату? Смотри, Хилон, как бы высказываемый тобою тезис не отразился на твоей спине в виде антитезы.

Хилон развел руками в знак того, что это не его вина, и сказал:

– Господин, произнеси по-гречески следующие слова: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.

– Хорошо. Вот я назвал!.. Но что же из этого?

– А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи их так, чтобы они составили одно выражение.

– Рыба! – сказал с удивлением Петроний.

– Вот почему изображение рыбы сделалось символом христианства! – ответил с гордостью Хилон.

Все замолчали. В выводах грека было, однако, нечто до такой степени поразительное, что оба друга не могли не задуматься.

– Вينيций, – спросил Петроний, – не ошибаешься ли ты? Действительно ли Лигия нарисовала рыбу?

– Клянусь всеми подземными богами, можно с ума сойти! – воскликнул с запальчивостью молодой человек. – Если бы она начертила птицу, я так и сказал бы, что – птицу!

– Следовательно, она христианка! – повторил Хилон.

– Это значит, – сказал Петроний, – что Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают украденных на улице детей и предаются разврату! Какой вздор! Ты, Вينيций, был дольше меня в их доме, я был недолго, но я достаточно знаю Авла и Помпонию. Если рыба служит символом христиан, – против чего действительно трудно возражать, – и если они христианки, то, клянусь Прозерпиной, очевидно, христиане не то, за что мы их принимаем.

– Ты говоришь, господин, как Сократ, – отвечал Хилон. – Кто когда-нибудь расспрашивал христианина? Кто ознакомился с их учением? Когда я три года тому назад ехал из Неаполя в Рим (о, зачем я там не остался!), ко мне присоединился один человек, именем Главк, о котором говорили, что он христианин, и, несмотря на то, я убедился, что он был человек хороший и добродетельный.

– Уж не от этого ли добродетельного человека ты узнал, что значит рыба?

– Увы, господин! На дороге в одной гостинице кто-то пырнул почтенного старца ножом, а его жену и ребенка захватили торговцы невольниками, я же, защищая их, потерял вот эти два пальца. Но у христиан, как говорят, нет недостатка в чудесах, и я надеюсь, что пальцы у меня отрасли.

– Как так? Разве ты сделался христианином?

– Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня: эта рыба сделала меня христианином. Смотри, какая, однако, в ней сила! Чрез несколько дней я буду самым ревностным из ревностных, чтобы они допустили меня до всех своих тайн, а когда меня допустят до всех тайн, я узнаю, где скрывается девица. Тогда, быть может, мое христианство лучше заплатит мне, чем моя философия. Я дал обет Меркурию, что если он поможет мне найти девицу, то я принесу ему в жертву двух телок одного возраста и одинакового роста, которым велю вызолотить рога.

– Значит, твое христианство со вчерашнего дня и твоя старая философия позволяют тебе верить в Меркурия?

– Я всегда верю в то, во что мне следует верить, – это есть моя философия, которая должна прийтись по вкусу в особенности Меркурию. К несчастью, вы, достойные господа, хорошо знаете, какой это подозрительный бог. Он не верит даже обетам беспорочных философов и, быть может, хотел бы сначала получить телок, а это потребует огромных затрат: не каждый может быть Сенекой, и мне бы с этим не справиться, разве вот благородный Вينيций пожелает в счет обещанной суммы... сколько-нибудь...

– Ни обола, Хилон! – отрезал Петроний. – Ни обола! Щедрость Виниция превзойдет твои надежды, но только тогда, когда Лигия будет найдена, то есть когда укажешь нам ты ее убежище; Меркурий должен поверить тебе в долг две телки, хотя меня не удивляет, что он делает это неохотно, – в этом я вижу его ум.

– Выслушайте меня, достойные господа. Сделанное мною открытие – великое открытие, потому что хотя я до сих пор не нашел девицы, но зато отыскал дорогу, на которой следует ее искать. Вы разослали вольноотпущенников и рабов по всему городу и по провинциям, а дал ли

вам указание хоть один из них? Нет! Я один дал. Я скажу вам больше. Между вашими невольниками могут быть христиане, о которых вы не знаете, так как суеверие это распространилось уже повсюду, и они вместо того, чтобы помогать вам, будут изменять. Худо уже и то, что меня здесь видят, и потому ты, благородный Петроний, обяжи Эвнику молчанием, а ты, сиятельный Виниций, разгласи, что я тебе продаю мазь, употребление которой дает лошадям верную победу в цирке... Я один буду искать и один найду беглецов; вы же доверьтесь мне и знайте, что сколько бы я ни получил вперед, это будет для меня только поощрением, так как я всегда буду надеяться на еще большие награды, и тем более буду уверен, что обещанная награда меня не минует. Да, так-то! Я, как философ, презираю деньги, хотя ими не пренебрегают ни Сенека, ни даже Музоний и Карнут, которые, однако, не лишились пальцев во время защиты кого-либо и которые могут сами писать и завещать свои имена потомству. Но, кроме невольника, которого я намереваюсь купить, и Меркурия, которому обещал телок (а вы знаете, как вздоржал скот), сами розыски сопряжены с множеством расходов. Выслушайте меня терпеливо. За эти несколько дней у меня на ногах сделались раны от постоянной ходьбы. Я заходил и в винные погребки покалякать с людьми, и в пекарни, и к мясникам, и к продавцам оливок, и к рыбакам. Я обегал все улицы и закоулки, побывал в притонах беглых рабов, проиграл около ста ассов в мору; заходил в прачечные, в сушильни и харчевни, видел погонщиков мулов и резчиков; видел людей, которые лечат от болезней пузыря и вырывают зубы; беседовал с продавцами сушеных фиг, был на кладбищах, — а знаете ли, зачем? Для того чтобы везде чертить изображение рыбы, смотреть людям в глаза и слушать, что они скажут, когда увидят этот знак. Долго я ничего не мог добиться, но раз встретил у фонтана старого невольника, который черпал воду ведрами и плакал. Подойдя к нему, я спросил о причине слез. Он мне ответил, когда мы сели на ступенях фонтана, что целую жизнь он собирал сестерций за сестерцием, чтобы выкупить из неволи любимого сына, но что его господин, какой-то Павза, как только увидел деньги, забрал их, а сына удержал в рабстве. «И вот я плачу, говорил мне старик, хотя твержу: да будет воля Божия! Но не могу, бедный грешник, воздержаться от слез». Тогда я, как бы пораженный предчувствием, омочил палец в ведре и начертил рыбу, а он заметил: «И я надеюсь на Христа». Я спросил его: «Ты меня узнал по этому знаку?» Он сказал: «Да, да будет мир с тобою!» Тогда я стал выпрашивать его, и старичина рассказал мне все. Его господин, этот Павза, сам вольноотпущенник великого Павзы и поставляет по Тибру в Рим камни, которые невольники и наемные рабочие выгружают с плотов и таскают к строящимся домам по ночам, чтобы днем не останавливать движения на улицах. Среди них работают многие христиане и его сын, но работа свыше его сил, оттого отец и хотел отпустить его на волю. Но Павза захотел удержать и деньги и невольника. Говоря так, он снова стал плакать, я же смешал с его слезами мои, — это мне было не трудно сделать по доброте сердца и вследствие колотья в ногах, полученного от постоянной ходьбы. Я стал при этом жаловаться, что недавно только прибыл из Неаполя и что не знаю никого из братьев, не знаю, где они собираются на общую молитву. Он удивился, что христиане в Неаполе не дали мне писем к римским братьям, но я сказал, что письма у меня украдены в дороге. Тогда он сказал, чтобы я приходил ночью к реке, где он познакомит меня с братьями, а они уже проводят меня до молитвенных домов и к старейшинам, которые управляют христианской общиной. Услышав это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа его сына, в той надежде, что великодушный Виниций возместит мне ее вдвойне...

— Хилон, — прервал его Петроний, — в твоём повествовании ложь плавает на поверхности правды, как оливковое масло на воде. Бесспорно, ты принес важные известия, я даже думаю, что на пути к отысканию Лигии сделан большой шаг, но не приправляй ложью своих известий. Как зовут того старика, от которого ты узнал, что христиане узнают друг друга при посредстве изображения рыбы?

– Эврикием, господин. Бедный, несчастный старик! Он напомнил мне Главка, которого я оборонял от убийц.

– Верю, что ты познакомился с ним и что сумеешь воспользоваться этим знакомством, но денег ты ему не дал. Не дал ни асса, понимаешь? Ничего не дал!

– Но я помог ему нести ведра и о его сыне говорил с величайшим сочувствием. Да, господин! Что может укрыться от пронизательности Петрония! Я не дал ему денег или, вернее, дал ему их только мысленно, в душе. Ему этого было бы довольно, если бы он был истинным философом... Я дал ему потому, что считал такой поступок необходимым и полезным: подумай только, господин, как бы он сразу расположил ко мне всех христиан, какой бы открыл к ним доступ и какое бы внушил им доверие ко мне!

– Правда, – сказал Петроний, – и ты обязан был это сделать.

– Я для того и прихожу, чтобы заручиться возможностью сделать это.

Петроний обратился к Виницию:

– Вели отсчитать ему пять тысяч сестерциев, но в душе, мысленно...

Но Виниций сказал:

– Я дам тебе слугу, который понесет потребную сумму, а ты скажешь Эврикию, что слуга – твой невольник, и при нем отсчитаешь старику деньги. А так как ты принес важное известие, то столько же получишь и для себя. Зайди сегодня вечером за слугой и деньгами.

– Ты щедр, как цезарь! – сказал Хилон. – Позволь, господин, посвятить тебе мое сочинение, но также позволь сегодня вечером прийти только за деньгами, так как Эврикий сказал мне, что уже все плоты выгружены, а новые придут из Остии только через несколько дней. Да будет мир с вами! Так приветствуют христиане друг друга... Я куплю себе рабыню, то есть, я хотел сказать, раба. Рабы попадают на крючок, а христиане – на рыбу. *Rax vobiscum!* *Rax!* *Rax!*³³

V

Петроний к Виницию:

«С надежным невольником посылаю тебе из Анция это письмо, на которое, я надеюсь, ты пришлешь немедленно ответ с тем же человеком, хотя твоя рука более привыкла к мечу и копью, чем к тростнику. Я тебя оставил на верной стезе и полным надежды, и я надеюсь, что ты или уже удовлетворил свои сладкие желания в объятиях Лигии, или удовлетворишь их прежде, чем настоящий зимний вихрь повеет на Кампанию с высот Соракты. О, мой Виниций! Пусть будет твоей наставницей златокудрая богиня Кипра, а ты будь наставником этой лигийской утренней звездочки, которая убегает перед солнцем любви. Однако помни, что мрамор, даже самый дорогой, сам по себе ничто и получает истинную ценность лишь тогда, когда рука ваятеля сделает из него художественное произведение. Будь таким ваятелем, *carissime!* Недостаточно любить, надо уметь любить и учить любви. Наслаждение испытывает и чернь, и даже звери, но истинный человек тем от них отличается, что превращает это наслаждение в возвышенное искусство и любит им сознательно, претворяет в мысль все его божественное значение и таким образом насыщает не только тело, но и душу. Неоднократно, когда я думаю о тщете, неуверенности и заботах нашей жизни, приходит мне в голову, что ты, быть может, сделал наилучший выбор и что не двор цезаря, а война и любовь – единственные две вещи, для которых стоит родиться и жить.

В войне тебе посчастливилось, будь же счастлив и в любви, а если хочешь знать, что делается при дворе цезаря, я тебе расскажу обо всем. Сидим мы здесь в Анции и холим свой небесный голос, выражая неизменную ненависть к Риму, а на зиму собираемся в Байи, чтобы

³³ Мир с вами! Мир! Мир! Мир!

выступить перед публикой в Неаполе, жители которого, будучи греческого происхождения, лучше могут нас оценить, чем волчье племя, живущее по берегам Тибра. Сбегутся люди из Байи, из Помпеи, из Путеолы, из Кум, из Стабиев, ни в рукоплесканиях, ни в венках не будет недостатка, – и это послужит поощрением к задуманному путешествию в Ахайю.

А память маленькой Августы? Да! Мы еще оплакиваем ее. Мы воспеваем гимны собственного сочинения столь удивительные, что сирены от зависти попрятались в глубочайших пещерах Амфитриты. Вместо них нас могли бы слушать дельфины, если бы им не мешал шум моря. Наша грусть до сих пор не улеглась, мы показываем ее людям во всевозможных позах, какие только известны искусству ваяния, особенно стараясь притом, чтобы эти позы присутствующим казались красивыми и чтобы они сумели оценить их прелесть. Ах, дорогой мой, мы останемся до смерти шутами и фиглярами.

Здесь находятся все августианцы и августианки, не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Поппея, и десяти тысяч слуг. Иногда даже бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет; говорят, что она упростила Поппею позволить ей брать ванну после Августы. Лукан дал пощечину Нигидии, обвиняя ее в связи с гладиатором. Спор проиграл Сенециону свою жену в кости. Торкват Силан предлагал мне за Эвнику четверку гнедых, которые в этом году непременно выиграют на ристалищах. Но я не захотел! А тебя также благодарю, что ты не взял ее. Что касается до Торквата Силана, то он, бедняга, и не подозревает, что скорее представляет собою тень, чем человека. Участь его решена. А знаешь ли, в чем состоит его вина? Он виновен в том, что приходится правнуком божественному Августу. Для него нет спасения. Таков наш свет!

Ждали мы здесь, как тебе известно, Тиридата. Между тем от Вологеа получено оскорбительное письмо. Он покорила Армению и просит оставить ее за ним для Тиридата, а если не оставят, то он все равно не отдаст ее. Явная насмешка! Мы уже решили начать войну. Корбулон получил власть, какою пользовался великий Помпей во время войны с морскими разбойниками. Была, однако, минута, когда Нерон колебался: он, видимо, боится славы, которую может снискать Корбулон своими подвигами. Думали даже, не предоставить ли главное начальство нашему Авлу. Этому воспротивилась Поппея, которой добродетели Помпонии, очевидно, колют глаза.

Ватиний известил нас о какой-то необычайной борьбе гладиаторов, которую намерен устроить в Беневенте. Смотри, до чего в наше время доходят сапожники, вопреки изречению «*ne sutor supra crepidam*»!³⁴ Вителлий потомок сапожника, а Ватиний родной сын! Может быть, он сам строчил дратвой! Гистрион³⁵

³⁴ «Пусть сапожник судит не выше сапога» (лат.)

³⁵ Актер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.